

ГЕРЦЕН КОПЫЛОВ

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ ПОЭМА

и другие неоднмерные произведения

$$\begin{aligned}
 & \lambda - \alpha v^{-1} = 0; \lambda^2 - \alpha \lambda (\alpha + v^{-1}) \neq 0; \lambda^2 - 2\lambda \alpha \cos \frac{\pi}{2} = 0; \\
 & \lambda_1, \lambda_2 = 1; \lambda_1 + \lambda_2 = 2\alpha \cos \frac{\pi}{2} = \alpha(v + v^{-1}) = 2\alpha; \lambda = e^{i\pi/2} = i; \\
 & \eta = \sqrt{1 - \alpha^2 \cos^2 \frac{\pi}{2}}; m = -\alpha \sin \frac{\pi}{2}; c - \alpha v = \eta m; c - \frac{\alpha}{v} = -i\eta m; \\
 & \lambda_1 - \alpha v = c + i\eta m - \alpha v = \eta \alpha; \alpha = m + \eta; \lambda_2 - \frac{\alpha}{v} = -i\eta(m + \eta); \\
 & \lambda_1 - \frac{\alpha}{v} = c + i\eta m - \frac{\alpha}{v} = -\eta m + i\eta = i(\eta - m); \lambda_2 - \alpha v = c - \eta m - \alpha v = -\eta m - \eta = -\eta(m + 1); \\
 & \text{Ищем } T \\
 & (JA) \alpha = \Lambda \alpha; \begin{pmatrix} \alpha v & -\beta v \\ \gamma v^{-1} & \alpha v^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 & \begin{pmatrix} \lambda_1 - \alpha v & \beta v \\ -\gamma v^{-1} & \lambda_2 - \alpha v^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0; \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta v \\ \lambda_1 - \alpha v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 & T = \begin{pmatrix} -\beta v & \lambda_2 - \alpha v^{-1} \\ \lambda_1 - \alpha v & \gamma v^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta v \\ \lambda_1 - \alpha v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 & T = \begin{pmatrix} -\beta v & -\beta v \\ \lambda_1 - \alpha v & \lambda_2 - \alpha v \end{pmatrix}; T^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_2 - \alpha v + \beta v & \\ -(\lambda_1 - \alpha v) & -\beta v \end{pmatrix} \\
 & = \begin{pmatrix} -\beta v & -\beta v \\ \eta \alpha & -\eta \theta \end{pmatrix}; T^{-1} = \begin{pmatrix} -i\theta & \beta v \\ -\eta \alpha & -\beta v \end{pmatrix} \\
 & = -\beta v \lambda_2 + \beta v \alpha v + \beta v \lambda_1 - \beta v \alpha v = \boxed{\beta v (\lambda_1 - \lambda_2)} = \beta v (2i\eta) = 2i\eta \beta v; \\
 & T^{-1} = T \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \\ & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\theta & \beta v \\ -\eta \alpha & -\beta v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta v (\lambda_1 - \lambda_2) & \\ & -\beta v \lambda_2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i\eta \beta v & \\ & -\beta v \lambda_2^n \end{pmatrix} \\
 & \beta v \lambda_1^n + \beta v \alpha \lambda_2^n = \dots
 \end{aligned}$$

Герцен КОПЫЛОВ

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ ПОЭМА
и другие
неодномерные произведения

"Страна и мир"
1990



Личная подпись

И. И. Иосифов
писать разборчиво

ОТ РЕДАКТОРА

Человеку, нареченному при рождении Герценом, да еще с отчеством Исаевич, сама судьба предопределила быть в оппозиции к властям. Таким он и стал, этот человек, которого черт угадал родиться в России с умом и талантом. Впрочем, как известно, быть в оппозиции к власти — вообще одна из социальных функций интеллигенции, российской — в особенности, а Герцен Копылов был российским интеллигентом самой высокой марки.

Г.Копылов — классический "шестидесятник". Именно в эти "послеоттепельные" годы физик Копылов сформировался как активный участник движения, которое его участники обозначили как правозащитное, а сторонние наблюдатели — как диссидентское. Будучи хорошо знаком со многими известными правозащитниками, например с П.Якиром, И.Габаем и др., Г.Копылов, однако, не был в числе активных "подписантов" и не выходил на демонстрации. Он участвовал в правозащитном движении по-иному — как публицист, избрав себе псевдоним Семен Телегин. В этой книге собраны все сохранившиеся самиздатские (и извлеченные из архивов) публицистические работы Копылова. В их числе статья "Как быть?", ставшая одной из самых заметных вех в самиздате того времени. Не случайно эта статья обратила на себя внимание А.Солженицына, который в "Образованщине" сделал ее центром своих резких и несправедливых нападок.

Сейчас, конечно, легко критиковать слабое место копыловской концепции, которое ясно проявилось как в этой статье, так и в других его работах: его убежденность в особой роли ученых в преобразовании общества. Убежденность эта питалась верой в то, что в силу самой специфики работы ученого, он, "трудясь, — бесстрашен и честен, ищет истину и только ее". Мы знаем, что это, к сожалению, не так. У нас на памяти арийская физика, мичуринская генетика и многое другое. Легко, конечно, сказать, что представители этих "дисциплин" были "ненастоящие ученые", но такое объяснение немногого стоит: все равно, что говорить, что товарищ Сталин — "ненастоящий коммунист".

Трудно сказать, откуда у Копылова эта аберрация. Возможно, как чистый и честнейший человек, он приписывал

свое видение мира и представления о нравственности другим своим коллегам. Может быть, сыграло роль и то, что среди окружавших его правозащитников непропорционально большую долю составляли представители именно точных наук. Кажется, что в этом Г.Копылов — шестидесятник не только XX, но и XIX века, с чистой юношеской страстью писаревских "Реалистов". Не забудем, что и в "наши" шестидесятые было сказано: "что-то физики в почете, что-то лирики в загоне".

Впрочем, в последние годы жизни, кажется, и сам Г.Копылов начал отходить от своей светлой веры (см. его эссе "Деморализация науки").

Но главная мысль Г.Копылова—публициста вовсе не в этих частностях. Его ведущая идея: "внутреннее освобождение есть необходимое условие свободного общества", "свобода внешняя не может возникнуть без свободы внутренней". Необходимо отделить явочным порядком "культуру от казны", начиная с "бойкота, неучастия, игнорирования" — к выработке и пропаганде новых гражданских ценностей. Этот первый детально обоснованный и блестяще изложенный призыв с созданию гражданского общества, как необходимого условия освобождения, не только не потерял своего значения в наше время, но, напротив, становится все более и более актуальным.

Но в полной мере талант Г.Копылова—литератора раскрылся в его поэтических работах — двух больших поэмах и в отдельных стихотворениях. В этой книге читатель в сущности впервые знакомится с Копыловым—поэтом. При жизни эта сторона его деятельности была известна лишь немногим близким друзьям, даже в самиздате его стихи не распространялись. Лишь в 1989 г. в печати появилось несколько поэтических миниатюр Копылова (журналы "Наука и жизнь" и "Химия и жизнь"). Представить по ним масштаб этого блистательного поэта, конечно, невозможно.

Главный труд жизни Копылова—поэта (приходится вводить это ограничение, ибо здесь мы не касаемся жизни Копылова—физика) — его "Четырехмерная поэма", трагический, саркастический и лирический современный лубок (в лучшем смысле этого слова). Это очень сложное по поэтике произведение вобрало в себя тревожную атмосферу конца 60-х—начала 70-х годов — через восприятие горько-ироничного интеллигента.

Календарным центром поэмы является, безусловно, август 1968 года — месяц советской интервенции в Чехословакию: крушение первой "революции интеллигентов", позор невольного соучастия, отвращение к восторжествовавшей силе. Эту "тень 68-го" стоит все время иметь в виду при чтении поэмы.

Четырехмерное пространство поэмы вобрало в себя целый спектр нашей жизни — от микромира советского научного городка до космоса российской истории. Трудно, пожалуй, найти и в "формальной", и в "неформальной" литературе такое яростное отторжение всего феномена "реального социализма", какое выразилось, например, в одной лишь копыловской главке: "Праздник власти над людьми". И вот что поразительно: поэма, написанная в период "расцвета застоя", звучит актуально даже в наше перестроечное время. Впрочем, не исключено, что это характеризует не столько поэтику Копылова, сколько неистребимые традиции российской истории, безжалостно подмеченные в главке "Лапоть". Но это безжалостность особого толка, приводящая на ум строки: "Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей".

Копылов смеется даже тогда, когда кажется, что смеяться уже невозможно, ибо это горький — настоящий щедринский — смех. Кстати, и стилистически, и композиционно "Четырехмерная поэма" приводит на память "Историю одного города". Задвинск вполне мог бы стать "породненным городом" Глупова.

Мне кажется, я понимаю, на чем покоится копыловское отрицание, его язвительная, беспощадная поэзия: на эстетическом неприятии окружающего его искривленного мира. Не на ненависти — на отвращении, отвращении до тошноты. И потому вовсе не случайна его энергичная более ранняя миниатюра "Монолог американского битника", которую надо было бы здесь процитировать, но лучше, наверное, просто перечсть полностью.

Маленькие — и не самые яркие — кусочки "Четырехмерной поэмы" (без упоминания, откуда они взяты), опубликованы в названных выше научно-популярных журналах под видом отдельных самостоятельных стихотворений. Я завидую читателю, которому еще предстоит впервые прочесть целиком и оценить многомерность (и не только по названию) этой удивительной вещи.

Не останется незамеченной и вторая поэма Г.Копылова — "Евгений Стромынкин", написанная в те блаженные годы, которые пережил каждый, кто "смолоду был молод", когда смех еще не был горек. Я думаю, эти две поэмы Г.Копылова соотносятся между собою, как "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких соотносится с "Улиткой на склоне".

Отдельных стихов у Г.Копылова мало. В этой книге они собраны все, включая даже раннюю (и не по-копыловски слабую) "Русскую историю от Гостомысла до Хрущева".

* * *

Воспользовавшись возможностями, которые дает положение редактора и издателя, хочу сказать несколько слов о том, что значил Г.Копылов для меня лично.

Впервые наши пути пересеклись (заочно) в 1951 году, когда я, точь-в-точь как Е.Стромынкин, приехал из провинции в Москву и поступил в университет. И буквально в первые дни кто-то дал мне прочесть машинописный экземпляр (без обозначения автора) поэмы "Евгений Стромынкин" — ее первых трех глав. Я прочел поэму два раза, прежде чем вернуть хозяину, и — удивительное дело! — запомнил всю, от первой до последней строки. Конечно, память тогда была не та, что сейчас, но ведь и поэме надо же было уметь на эту память ложиться!

Я помню ее и по сей день, а сколько раз я ее за эти без малого сорок лет декламировал — не могу и подсчитать. И в долгие томительные наблюдательные ночи на астрономической обсерватории, и в дружеских компаниях, и позднее, в компаниях отнюдь не дружеских, когда поэма выручала особенно: в Лефортовской тюрьме, в ШИЗО Мордовских лагерей, в карцерах Владимирской тюрьмы.

Когда потом, с большим запозданием, я прочел статью Г.Копылова "Август 1972 г.", я вспомнил этот август и те российские пожары, с описания которых начинается статья. Тогда я не знал, что горело не только Подмосковье, но и Поволжье, и леса и болота по Оке. Жара — от нее скрыться было некуда. В почти наглухо закупоренных камерах Лефортовской тюрьмы мы, эки, начинали терять сознание, и надзиратели не выдерживали и открывали кормушки камер —

правда, одновременно лишь с одной стороны коридора, чтобы эски не видели других эсков напротив. Тогда в камере начиналось слабое движение воздуха, и вместе с ним сквозь "намордник" окна вползал едкий желтоватый дым горевшей России. Я ходил от стенки до двери — девять шагов в одном направлении, девять назад и снова девять вперед, — декламировал задорные и иронические строки "Стромынкина", и что-то внутри разжималось.

К тому времени я уже был знаком с автором: нас познакомил Петр Якир, на квартире которого в конце 60-х—начале 70-х гг. мы оба часто бывали. Но я не знал еще тогда, что "Четырехмерная поэма" была почти завершена (а полностью Г.Копылов ее закончил уже тогда, когда меня "взяли"). Только в эмиграции удалось мне ее прочесть и оценить значительность этой вещи, и тогда стало ясно, что пришло время издать все, написанное этим незаурядным человеком. Я вдруг понял, что имел в виду Гемфри Дэви, когда он сказал, что самым значительным открытием, которое он сделал в своей жизни, было открытие Майкла Фарадея. И мне очень захотелось стать Дэви при Герцене Копылове.

Для этого было, как минимум, три причины. Во-первых, желание поделиться с другими радостью открытия поэта. Во-вторых, долг памяти перед этим человеком. В-третьих, кому еще издавать Копылова, как не мне? Ведь я до сих пор помню наизусть многие авторские варианты копыловских текстов, и если я сейчас их не восстанавливаю, они будут утеряны навсегда. Кроме того, мне легче, чем кому-либо иному, прокомментировать эти тексты, а они в комментариях нуждаются.

Прежде всего, это комментарий исторический. "Стромынкин", например, хранит в себе следы реалий послевоенного Московского университета, а я учился там почти одновременно с Г.Копыловым, и мы проходили через ту же Большую физическую. "Четырехмерная поэма" немыслима без ощущения атмосферы 60-х годов, а оно тоже, волею судеб, у нас одинаково. Но еще более важно то, что Г.Копылов остается физиком даже в стихах. Это особый род поэзии, позволяющий использовать такие изысканные тропы, которые выпадают из арсенала поэта-гуманитария. Поэтому я позволил себе — в меру, как мне кажется, не злоупотребляя терпением читателя, — прокомментировать ряд физических пассажей поэм Копылова. Мне, как физику, это было легко.

Разумеется, поэмы — не учебник физики, и читатель вовсе не обязан понимать досконально каждый термин. Если автор, например, характеризуя эрудицию героя, говорит, что тот "знал про неборновский кристалл, про борновское приближение", читателю вовсе нет необходимости понимать, что это такое (да и объяснения потребовали бы многих страниц). Достаточно ощущения, что речь идет о чем-то умном, — именно этого и хотел добиться автор. Поэтому комментарии даются лишь тогда, когда без понимания смысла выражения или термина поэтический текст многое утрачивает.

* * *

Эта книга была бы невозможна, если бы не содействие двух людей: сына Герцена Копылова — Геннадия и Татьяны Баевой. Оба они сохранили и передали для публикации архив Г.Копылова, оказали неоценимую помощь в восстановлении творческой истории авторских текстов. Здесь пользуюсь случаем заметить, что Таня Баева — одна из демонстрантов на Красной площади 25 августа 1968 г. против интервенции в Чехословакию. Более 20 лет ее имя в этой связи не называли, говорили об отважной "семерке", тогда как на самом деле это была "восьмерка". Лишь в начале 1990 г. о Т.Баевой в этой связи впервые сказал "Огонек". Наверное ей было особенно важно сохранить для потомков "Четырехмерную поэму".

Я благодарен также друзьям Геры Копылова, написавшим для этой книги свои воспоминания: археологу Георгию Федорову, писателю Марку Харитонову и Юлию Киму, имя которого в жанровом определении не нуждается.

Кронид Любарский

Г. И. КОПЫЛОВ

25 августа 1976 года на 52 году жизни скончался видный советский ученый доктор физико-математических наук старший научный сотрудник /Объединенного института ядерных исследований — *Ред./* Герцен Исаевич Копылов. Уже нет рядом с нами талантливого и яркого исследователя, прекрасного человека, доброго и отзывчивого товарища.

Г.И.Копылов родился 27 марта 1925 года в семье рабочего. Он начал работать с 16 лет — сначала в МТС, затем — токарем и техником на оборонном заводе. Одновременно он кончает школу рабочей молодежи и в 1944 году поступает на заочное отделение физического факультета МГУ. Окончив с отличием университет, преподает физику и математику в средней школе и индустриальном техникуме. С 1954 года Герцен Исаевич — сотрудник Института научной информации АН СССР, а с 1955 года он работает в Дубне.

Г.И.Копылов внес значительный вклад в развитие физики высоких энергий и элементарных частиц. Среди его работ можно выделить три основных направления: исследования по релятивистской кинематике, разработка статистической теории и методов моделирования многочастичных реакций и анализ корреляционных явлений при генерации тождественных частиц. Работы Герцена Исаевича по кинематике резонансов были обобщены в его докторской диссертации (1967 г.) и в монографии "Основы кинематики резонансов". Пионерские работы Г.И.Копылова по "методу случайных звезд" легли в основу используемого сейчас моделирования многочастичных реакций. В последние годы Г.И.Копылов активно и плодотворно разрабатывал оригинальный корреляционный метод изучения пространственно-временных характеристик процессов генерации элементарных частиц.

Г.И.Копылов был теоретиком, тесно связанным с экспериментом. Это проявлялось не только в его статьях, но и в каждодневном плодотворном общении с экспериментаторами.

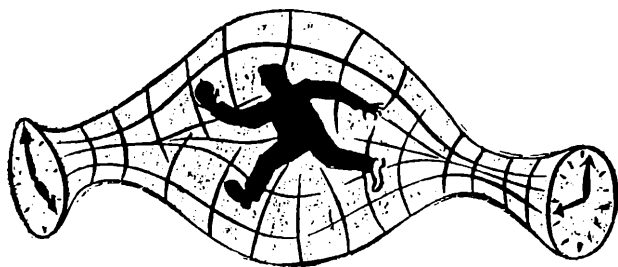
Участие Г.И.Копылова в общественной жизни не ограничивалось популяризацией науки и работой в физико-математической школе. В разные времена был он комсоргом, занимался профсоюзной работой, был активным автором ДУСТА. *Многим известны его умные и горькие стихи.*

Больно сознавать, что от нас ушел этот замечательный многогранный человек, неотъемлемым качеством которого была глубокая преданность науке.

Группа товарищей

Некролог, помещенный 31 августа 1976 г. в газете "За коммунизм" (г.Дубна, Московской обл.). Слова, выделенные курсивом, при публикации в газете опущены.

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ ПОЭМА



О С Ь Т. ПУТЕШЕСТВИЕ В АВГУРИСТАН

Поэма для голоса с балалайкой

НАПУТСТВИЕ

Ламца — дрица — гопцаца !

Начинаю от яйца.

Сквозь поэмы пучину,

шаг за шагом,

чин по чину

довежу и до конца.

Не заботьтесь вы, коллеги,
о досуге,

о ночлеге —

будет весело итти

вам по этому пути.

Будут ваши рюкзаки

и удобны, и легки.

И, как водится в маршрутах,

ради дела, не для шуток,

я устрою каждый час

небольшой привал для вас.

Чтоб усгалая орава

разошлась бы влево-вправо,

отвела бы глаз от кед,

увидала б солнца свет.

Или спины б почесали

вместе с языками.

Или спели б и сплясали

рядом с рюкзаками.

Посидели б на привале,

наследили б,

наплевали —

и пошли б себе опять

места нового искать.

Приставай, читатель, в кучу.

Мала куча — больше лучше.

Мы отправимся в одну

необычную страну.

Вы по атласам не шарьте —
нет границ её на карте,
а лежит она

в верстах...
в наших именно местах.
Только нет у ней границы,
от очей она хранится,
цепью топей и лесов
заперлася на засов.

Отодвинешь ты задвижку —
выйдешь к городу Задвинску.
Я сказал бы, да не знаю,
чья в названьи том вина.
Правда,

там течёт
лесная
речка,

именем Двина,
и одною из причин...
но, не знаю, помолчим!

В ту страну дорог немного.
Собственно, одна дорога.
Поворот даёт она
на опушке, где Двина.

Сразу после поворота
остров.

Мост.

Посты.

Ворота.

Камня гряда.

(Взорван Сталин).

Подле камня

столб поставлен,
полосат, как арестант.
И слова

А В Г У Р И С Т А Н

В той стране живут авгуры —
острословы,
балагуры,

эрудиты,

мудрецы,
по профессии — жрецы.

К ним-то в стан, осилив робость,
мы проложим свой маршрут.

Пропуск?

Нам не нужен пропуск,
нас и так не отошлют.

Мы не двинемся асфальтом —
прыгнем мы особым сальтом.

Только физикам одним
можно пользоваться им.

Дело в том, что

хоть на остров
сквозь пространство влезть непросто, —
путь по времени туда
выгорает без труда.

Вот глядите: мы с разгону,
словно в омут головой,
раз-два-три — летим сквозь конус,
через конус световой.

А за конусом законы
непривычны, незнакомы.
Тут меняются значением
время T и место R:
спуск покажется стареньем,
смена места — сменой эр.

Тем охрану и уем я:
проведу я вас сквозь время;
эти строки, этот труд
будет строгий наш маршрут.

Наши тропы будут строчки,
а синкопы — пни и кочки.
И стиха задаст размер
темп похода.

Например,
если ритм тяжёл, железен,
значит в гору тяжело лезем.
Вниз,

с горы,

хотим

скорей —

газ дадим, включим хорей.

А взбредёт

на камне надпись
разобрать,

порыться в прахе —
подойдёт тогда анапест
или грузный амфибрахий...

В путь, читатель! Бодрым скопом,
спотыкаясь по синкопам,
узкой тропкой луговой!

Но — особый уговор!
Мы оставили Расею
не по делу — по веселью.
Если важен ты,
серьёзен —
нет тебе со мною виз.
Мы порою

чушь сморозим —
лучше сразу оторвись.
Идя с нами по дорожке,
мысли мудрой не сорвёшь.
Все нам станет понарошке,
все тут будет невсерьёз.
Станешь ты,

как тот придурок,
наживать туберкулёз
между лажей и придумок,
между баек и колёс.
Не ищи здесь

мысли сжатой,
широты там,
глубины...

Так, стишата как стишата —
не кроты

и не блины.
Я не храбр — не в поле воин;
не мыслитель — не глубокий;
и пишу я

поневоле
не поэму,

а л у б о к

в старом
 добром
 русском
 стиле —

рано мы его скостили,
он послужит нам ещё,
на него-то и расчёт.

Как в лубке бывало древнем,
избы тут — с узорным гребнем,
лапти,

 девки,
 щёк налив —
весь классический наив.

В ход пущу всю эту ветошь:
наведу на лица ретушь,
добрым молодцам усы
подрисую для красы;
вид у татей будет гнусен,
косы русые у краль,
нитки бус из крупных бусин,
во всю вывеску мораль.

Пусть пройдут, потехи ради,
чередой, как на параде,

и негры,

и белые,

энергии

Бэвные,

муки теоретика,

русская поэтика,

 Санины сальные,

 Сусанины сусальные,

 затеи книгочеевы,

 злодеи — Аракчеевы,

 иудеи хитрые

 и идеи Гитлера.

Пусть язык — не хрестоматий —
только что не в Христа мать,
брань избранным не укор,
на хрена им...

виноват:

не в коня им книжный корм.

хоть на строчку отключилась, —
будет ли от правды прок?
А таких изрядно строк.

Что же

мне сидеть кручинясь —
расскочилась-де причинность?

Я пойду на компромисс,
я введу по капле мысль,
пусть она сама сочится,
как попало, как случится,
пусть

долбит,

долбит,

долбит —

продолбит,

хоть мал дебит.

Не годится образ скважин?
Хорошо, иначе скажем:
правды

блики и мазки
рассеку я на куски,
раскидаю как попало,
соберу куда упало,
по ошмёткам, по частям —
вывод здесь,

посылка там —

размещу за частью часть,
о логичности не тщаь.

После этой процедуры
всё смешается в натуре,
скажем,

древность — с новизной,
с нашим бредом —

привозной.

Станет мой лубок — "КОНСТРУКТОР";
пусть кто хочет соберёт
по событиям, по поступкам
правду
в полный разворот.

Я, как все, люблю правдивость.
Мне, как прочим, приходилось

за неё вставать не раз.
Знаю я,
 что все у нас
правду нежат,
 правду любят,
правду режут,
 правду рубят
и,
 изрубленную сплошь,
выпускают в бой на ложь,
на крамольников
 и татей.

Что ж!
Пошли и мы, читатель!
Ноги в руки, бодр будь!
В край науки, сходу, в путь!

ПЕРЕХОД ПЕРВЫЙ. КРИВИЧИ

Люди!

Я любил вас!

Будьте бдительны!

И.Сталин

Выступаем от крыльца,
начинаем от яйца.
В нём тогда еще лежала
вся российская держава.
Ну а кто, какая птичка
в те поры снесла яичко?

* * *

Между

Волгой и Двиной
жил тогда народ иной,
низкорослый, некрасивый.

Были здесь везде трясины,
комары — как крокодилы —
да боры непроходимы.
А в борах-то — птицы! зверя!!
И жила здесь только меря
или чудь,
а может, весь —
то неведомо нам днесь.
Всяк свою скородил рамень,
всякий всякому был равен
и боялся — только чоха.
Жил в грязи, а все ж неплохо:
лыко драл, ловил бобров,
стерлядь жрал и осетров.

Жили рядом с кривичами,
у себя их привечали.
Удивлялись кривичи,
на белоглазых глядячи:

— Поглядите, добры люди,
сколько чуда в этой чуди!
Те ж болота, что у нас,
а какой в избе припас,

даром что едят по-свински,
даром что галдят по-фински.
С них по три шкуры не дерут,
ни даже дани не берут —
что им мыто, что им князь!
Ай-да чудо-белоглазы!

Чем же хуже, братцы, мы-то?
Что ни шаг — оброк да мыто!
Все даём, даём, даём —
то бездетность, то заём.
Дань дерут — полпуда с пуда,
выгребают из-под спуда.

Не налог — грабёж.

Не закон — правёж.

Чуть не так — в кнуты,
будто мы — скоты.

Мы же люди, не назём.
Хватит жить нам под князём.
Разбредёмся розно,
покудова не поздно.

Эй, народ!

Слезай с печи

да на дровни все мечи.

Что не влезет — брось.

Наживем небось.

Хватит баб лапоть.

Обувай лапоть.

Обнови-ка санный путь,
уходи-ка с нами в Чудь.

Эй, ты, Русь, отчалы!

Кинь ты грусть-печаль.

Жили, не было печали —

сами взяли, накачали,
так теперь уж не кричи.

Так шумели кривичи.

Им

за качество одно

было имя то дано:

что они, по воле вольной,

шли всегда тропой окольной,

не любили прямиком,
не ходили большаком,
дело ладили с оглядкой,
шубу новую — с заплаткой,
дули в дудку не дудя,
проходили не дойдя,
завивали лысым кудри,
задней сметкой были мудры,
мёрзли вместе — грелись врозь.
Так у них уж повелось.

От хождения кривого
все точила их тревога.
То и дело путь меняли,
веры никому не няли.
И, себя в конец запутав,
здравый смысл послав на хутор,
вдруг бросались очертя,
смет и планов не чертя,
шишки ставя на чело:
— Обойдётся!
— Ничаво!

Так и тут.
Решили мигом:
полно, братцы, жить под игом!
Не задумавшись ничуть,
встали все, ушли на Чудь
или в Мерю,
или в Весь —
весь народ,
за весью весь.

Князь
пропажи не заметил...
Был вельми он духом светел,
не сходил до мелочей...
В те поры для кривичей
составлял он, сидя дома,
семилетний клич подъёма.
Составлял все семь годов,
наконец-то клич готов...

Клич

- на диво был хорош:
а) не сеять больше рожь,
б) все силы — на пшеницу,
в) крупней объединиться,
г) в поход на белену,
д) народ — на целину,
е) посевы поливать,
ж) соседей поливать,
з) купить алтын за грош...

Клич — отменно был хорош,
не учёл лишь он проста,
что в деревне — пустота,
заколочены все избы,
смокнул смех,
девичьи визги,
пеунов — и то не чуть —
все давно ушли на Чудь.

Вышел князь однажды с кличем.

Взгаркнул, вскрикнул гласом бычьим.

Голос

гору обогнул,
эхо ближнее спугнул.

Как

взвилось оно над лесом,
как взвертелось мелким бесом,
отскочило от дубрав,
ничего не разобрав,
возле речки
на песочке
поиграло
в голосочки,
заглянуло в Божий храм,
шурануло по углам,
вперепрыжку

поскакало

по оврагам,

по буграм,

завопило очумело —

оттрубило,

отшумело

и в омелах
у скита
онемело.
Пус

то
та!

Ой, взыгра во князе грусть:
— Эй ты мать

родная Русь!

Ну народ!
Ну ровно дети!
Чуть им что — рванулись в нети.
Распусти их чуть —

норовят на Чудь.

А того в уме не ймут, что источник счастья — труд.
Сделай труд ты делом чести
и трудись прилежно вместе —
и создаст вам труд обилье,
может сказку сделать былью.
Ишь ты, тоже эмигранты!
Коромольники!
Таранты!

Не заела бы их чудь, надо бы дойти взглянуть...
Через Ворю и Мещору,
через самую трущобу
князь пробрался на Двину:
"Ну-ка, — думает, — взгляну!"

Глядь —

народ живёт неплохо,
пироги печёт с горохом,
мочит кадки под грибы,
ладит ступы для крупы,
грабит борть и рыбу удит.
Где же чудь-то?
Нету чуди!
Русский
говор,

мат

и смех.

Чудь

растаях аки снег

во ярилиных лучах —
рассосалась в кривичах.
Для ума непостижимо —
без особого режима,
без насильного креста,
без отсылки в Туркестан,
без расправы с мнимым бунтом,
без анкеты с пятым пунктом,
ни судом,
ни измыванием —
просто —
с о — с у — щ е с т — в о — в а н ь е м !
Лишь остались имена:
Волга, Истра и Двина,
да с тех пор
носить решили
кривичи
носы пошире
(основанья их раздвинув
в память чуди,
в память финнов).

ПЕРВЫЙ ПРИВАЛ. ЛАПОТЬ

*Ох вы, лапти мои,
лапоточки мои,
приходи ко мне, милёнок,
ставить точки над i.*

— Не устали вы, дружки?
Кто устал, прилягте.
Расскажу я вам стишки
о великом лапте,
о старинном лапте
от Курил до Лахти.
Вынь-ка глобус
вслед за мной,
кинь-ка взор
на шар земной —
он придавлен сверху
льдиной,
неделимою,
единой.
Кому льдина — кому лапоть!..
Надо же суметь оттяпать
от земного верху
этакую мерку.
Жмёт громада на планету,
нажимает — сладу нету,
виновать — не виновать,
кувырка не миновать.
Кто же
тот земной рычаг
раскопал и выкопал?
— А всё дело в кривичах,
в ихнем лапте лыковом, —
всё-то дело в лапотке —
в том,
которым по реке
путь топтали люди,
утекая к чуди.
А вослед за стариками
молодая поросль,

как от света тараканы,
разбегалась порознь.
Убегали от Расеи,
от приказной карусели,
от ноздрей, железом рваных,
от гостей ночных незваных,
раскулачиваний лютых,
выколачиваний смуты,
вечной дешевизны
человечьей жизни,
от натужности ярма,
от ненужности ума,
от суммы и от тюрьмы,
Соловков и Колымы.
Было им на...

чхать

на царёву рать,
на Петра Великого,
на орла двуликого,
на казённый толк,
на законный долг,
патриотов—п...алачей...¹

Шли потомки кривичей,
топотали лапотками,
в армяках из домоткани.

Тёк поток серый
на Восток, Север.

Уходил на зло царям
то к чухне,

то к лопарям.

Убегал он самобегом
к литвякам

и самоедам.

Плавал волжским низом
к татарве,

к киргизам.

Меж калмыков

горе мыкал,

¹ Слова с внутренним многоточием означают, что читатель вправе поставить на их место другое, более точное слово.

пёр по Каме
с пермяками,
подпоясавшийся лыком,
шёл за Камень

с казаками,
то ль за новою судьбиной,
то ль за Книгой голубиной.
Как дождём,

нуждой иссикан,
вшой сыпной по бровь осыпан,
шёл как в ссылку на Иссык он,
мерил дали вёрст,
голодал и мёрз...

...Не терялась Расея,
своих граждан рассея:
за слепую,

огромной
жаждой

воли и счастья
жал тропую укромной
раж разбоя и власти.

Эти ноги босые,
эти латки и лапти
разносили Россию
разбеганьем галактик.
Чем несносней несчастья,
чем страданья космичней,
тем славнее всевластье,
тем яснее величье.

Ай-да ушлые предки,
подгадали потомкам,
дар оставили редкий:
лапотки

и котомку,
чтоб,
сбежав от подонков,
властодержцев России,
те потомки

в котомках
ихню власть разносили,
и, запасшись авосем

и мечтой оголтелой,
чтоб
 столетий на восемь
им хватило бы дела.

...Смотрим мы на шар земной.
Я хотел бы, чтоб за мной
и читатель тоже понял,
отчего в нас сто японий,
а бельгии-голландии —
что мелкие оладии?
Чтоб он тоже, пораскинув
взором в давние века,
понял,

 до чего Россия
бессердечно велика.
Развалилася Федора
от Карпат до Командора,
от вогулов до армян,
всех огулом подравняв.
Непонятных — обкарнала,
неприятных — доканала,
как по мерке, под ранжир
все уклады уложив.

Тот	огром	постигнуть	тужась,
мозг	бессильно		ощетинь.
Как	в погром,	постыдный	ужас
пред	Россией		ощути:

 сколько ж надо было боли,
жажды воли, рук на горле,
трупов,

 пленных,
 грабежа,
труб военных трубежа
и людского —

 нелюдского —
 сверхлюдского —

терпежа!

Сколько веры с удалью
и с леченьем розгами,
чтоб,

начав от Суздаля,
да такое создали,
чтоб от Кушки до Таймыра
те же
люди у кормила,
чтоб
в Тбилиси,
в Магадане
те же
мысли,
те же
зданья,
те же
странные квартиры
с той же ванной в сортире,
тот же вкус отбивной,
тот же дух от пивной,
грязь по колени,
связь поколений,
чтоб
одна
окраска стен,
чтоб
одна
увязка цен
и пальто реглан,
и поток реклам,
те ж
изделия из резины,
те ж
фанерные призывы,
клики да колонны,
втыки за уклоны,
та же
чушь контор,
тот же чувств картон
и один язык
для народа:
ЗЫК...

ПЕРЕХОД ВТОРОЙ. КРУГОВОРОТ ИСТОРИИ

*Истории климат там был не для хлипких.
Он весь заключался в различных ошибках —
идейных,
военных,
судебных,
чиновных —
и в их устранении при помощи новых.*

Читатель!

Признаюсь, что я сплоховал.

Был длинным-предлинным
наш первый привал.

Нельзя наделять нам привалы
такими большими правами.

Дай волю привалам —
все время пожрут,
нескоро нам с вами
окончить маршрут.

Опять же —

обилье
высоких материй
для нас обернулося
темпа потерей,
свело на трагический трёп
с простых туристических троп;
я в пафос скатился,
как тесто раскис,
о лапте российском
затяв эскиз.

Но я — спохватился!

Долой,
отвалите-ка,
стихи о лаптях
и иная политика!

К чему этот вопль о властях?

Они ведь того не простят.

Зачем их дразнить
партизанским наскоком?

Хочу заменить

телескоп — микроскопом.
 Хочу изучать
 не слонов, а эвглену.
 Я глупую лупу
 возьму как эмблему.
 Пусть эта сатира
 нас вдоволь потешит
 не светом светил,
 а уродством простейших.
 Не буду писать
 о крупнейших событиях.
 Я их не замечу,
 сумею забыть их.
 Не будет решений великих,
 этапных.
 Не будет мишеней и ликов масштабных.
 Отброшу я мысли
 о судьбах страны.
 Мне хватит
 моих кривичей и Двины,
 и будничных дел,
 и обычных поступков.
 Я — физик.
 Чуть-чуть
 по картонке постукав,
 увижу
 в железных опилок сумбуре
 и сгустки полей,
 и магнитные бури.

* * *

Revenons à nos moutons.
 Мы закончили на том,
 как обрадовался князь,
 с народом воссоединясь...
 Он поспешно отменил
 безвластье непристойное,
 он декретом объявил,
 что началась история...

.....

Поначалу нарочито,
но стерпелись кривичи-то
приникать к тому горнилу,
где историю куют,
привыкать к тому гарниру,
под каким её дают.
Для начала

кривичи —
только спрыгнули с печи —
землю удивили:

был у них

усатый батя —
взяли батю, слов не тратя, —
чучело набили!

А что был при бате дьякон —
шуганули, чтоб не вякал!

Хлеб на лысине взрастили,
край блинами замостили,
жучку в небо запустили...

Свой собор рожком подбили
и пустили с молотка,
а корову разрубили
ради мяса-молока:
зад два раза в день доили
да сливали наземь,
а перёд во щаж варили
и кормились с князем.

А парням пообещали:

приходите к нам за щами.

А пришли, так щей не дали

и ещё взашей прогнали.

И под колокольный звон
сена стог встречали.

А в Москве среди ворон
враз свою признали.

А Двину-то загатили,
в сине море превратили,
по канавам развели
и лягушек развели,
да особую породу:
чтоб предсказывать погоду.

Долотом ерша удили,
а постом мыша водили
на канате всей толпой
на море на водопой.
Лёд соломой растопили,
нож о воду иступили,
под столом, устав с дороги,
перепутали все ноги.

Рукав к жилетке притачали,
хрен с петрушкой обвенчали,
крупку толкли на обушке,
кота купили раз в мешке.
Раз иглой баржу прошили,
так пилой лапшу крошили,
ездили на катере,
дырки конопатили.

Кобыле пришивали хвост,
из кукурузы клали мост.
Лошадь съели,
да писали,
чтоб ещё одну прислали.
То блоху давили миром,
то арапа мыли мылом,
раздевали догола,
отмывали добела.

...Электрон открыли где-то.
Кто-то мерил скорость света.
Кто множил в аккурат
массу m на c^2 .
Кто-то бредил Максвеллом,
кто-то сделал лазеры,
а в Задвинске —
максимум

на берёзу лазили,
за сучки хватались,
луну достать пытались.
Где-то рядом
атом в атом
люди превращали,
а задвинцы,
кроя матом,

люто
поглощали
самогона канистрою
под икру зернистую,
напивались пьяненьки,
били баб нещадно,
знали только пряники
из всего печатного.
Был один "Лука Мудищев"
изо всей духовной пищи.
Тылом крепки были предки:
медленны,
патриархальны.
Много лет, как птички в клетке,
по истории порхали.
За железной занавеской
проживали,
как в вольере.
Были нравы их известны,
просты,
словно акварели.
Был их быт
тяжёл и плотен,
из гранита в пору высечь.
И казалось:
как семь сотен,
так пройдёт ещё семь тысяч.
Но что-то случилось, — р-п раскрошили? —
но что-то включилось в сверхсчётной машине.
Она в Гималаях, средь вечных снегов
Землёй управляет заместо богов.
Какая в ней память — солидные кубы!
В ней вводы и вводы, хоть выводы скупы...
Она не новейшая — старой формации.
Она собирает поток информации —
без сводок, анкет, безо всяких бумажек
про всех она знает, а только не скажет.
И я не скажу, кто её делегаты,
а только скажу: "До чего деликатны!"
Она не грозитя, она не бряцает,
она для себя для одной прорицает,

и лишь для того, чтобы сумма сошлась —
обратная, еле заметная связь.

Берёт на себя она изредка смелость
подправить, убрать еле видную мелочь,
с дороги смахнуть ту крупиночку лжи,
без коей не будет чему надлежит.

Но всё же имеют капризы богини:
являлись гречанки Парису нагими.

А здесь даже был не амант, не каприз,
а просто команды чуть-чуть не сошлись:
сказала ячейка ячейке: "Запрись!" —
а та ей: "Заткнись!" — вот и вышел каприз,
машина забилась, как в кашле зашлась,
а тут и включилась обратная связь.

И так получилось, и так уже вышло,
что все на Двине отразилось пышно.

Вдруг смаху

прогресс развернуло насикось,
истории круг завертелся, заиклясь,
событья она ухватила за холку,
чтоб их пропустить по второму заходу,
и даже не в тот же, привычный, черёд,
а с тыла пустила — от заду вперёд.
Хотя б не обратно, хотя бы как было,
а то ведь

арапа,

блоху

и кобылу,

и катер,

и дырки,

кота

и мыша...

Ну, словно как в цирке пошли антраша.
Прогресс, словно спятив, шёл задом, о Боже!..
Лишь дьякона с батей оставил на позже..
Народ —

он сперва делал всё

и не пикал,

как вдруг поворот — и пошёл третий цикл,
в том, старом, привычном, первичном порядке!
Народ в изумлении: "Да что за загадки?"

Ведь было всё, было... гляди, вон кобыла:
дай, стерва, кумыса!

А вон и араб...
Насер, не отмылся?.. А вроде пора б!..”

Программа ж — все рьяней входила во вкус.

Столетия — за год!

Ускоренный курс!

”Да что ж, это, братцы, за козни прогресса?

От прежнего цикла народ не угрелся,
намедни мы поняли эти ошибки —
и снова они же! Уж больно мы шибки!”

...И не было щели, куда бы забиться,
и не было дела, в котором забиться.

Дорога на месте кружила бугрясь.

Народ, как в бесчестьи, в прогрессе погряз.

Взгляд пряча,

послушно он двигал историю,

как кляча, то в ту, то в обратную сторону...

Скажу: до того приобьёлся народ,

что сразу все делал он наоборот.

ПриладилсЯ он

рассуждать от противного:

ругнут кинофильм — поспешит на картину он;

облают роман — значит, можно читать;

похвалят кого — значит, химик и тать;

слова заглушают — звать, мысль хороша...

Такие пошли каждый день антраша.

Пошли про раскол и про власть анекдоты,
то в рост,

то ползком — как солдаты на доты,

Василий Иваныч, Владимир Ильич

маразм раскрывали, клеймили двуличь.

Мухлюя, петляя, меняя прицел,

вещал нам с Валдая армянский акцент.

И все это вслух, о себе не дрожа...

Такие смешные пошли антраша.

Что прожито все,

до нуля,

до абсурда, —

об этом трезвонила даже посуда,

все тёлки мычали,

все раки свистели,

пускай
навредит,
да хоть
канителью
на ёлку
навешен,
плохой,
самодельный, —
но только
новейший.
И здесь-то
возник —
педагоги,
учтите! —
из плесни,
из книг,
сам собою —
Учитель.

ВТОРОЙ ПРИВАЛ

По спинам пней,
по трансу просек,
по теням сосен и берёз
затеял я сегодня кроссик —
да что там кроссик —
целый кросс.

А солнце, солнце
в санках синих
свой повело автопробег,
чтоб голоснуть
за зимний иней,
за чёрный лес,
за белый снег.

И мы бежим лыжнёю узкой,
сметая гниль и прель простуд,
за мускулом сжимая мускул:
пускай, плюгавые, растут.

Укутан в пот,
морозом выжжен,
омытый током кипятку,
по паутине плотной лыжен
свою я нитку тку и тку.
Снега порыдывают рыдмь,
когда вонзаюсь в их нутро,
а я бегу в особом ритме,
каким не бегивал никто.

А на лыжне синеют тени
её подсолнечных краёв,
как будто кто на белом теле
полоску ляписом провёл.

Мне этот блеск —
подножным кормом,
мне этот бег
и этот ритм —
источник слов,
источник формул,
житий толстенный патерик.
Бегу в снегу

в весёлом ритме,

нагуливаю аппетит
напасть на власть

в особой битве,
где кто падёт — тот победит.

ПЕРЕХОД ТРЕТИЙ. КНИГОЧЕЙ

*Всяка душа властям предержащим
да повинуется.*

Римл.

Между иных кривичей
жил у Двины книгочей.
Из-за угла был мешком он прибитый.
Пасекой правил. А звали Никитой.

Много держал он в чулане
книжек про землю и пчёл.
Если являлось желанье,
к свету садился и чёл.
На ночь лампаду запалит,
на нос оправу натялит
и, как на ниточку пуговицы,
нижет и нижет он буковки.

Смотришь — получится слово.
Чуть отдохнёт он — и снова
примется буквы низать,
в слово желая связать.
Много осилил он книжек.
Нижет и нижет, и нижет.
Был пчеловод — пчеловод,
стал пчеловод — человек,
стал молчалив, неназойлив,
даже что знал, то скрывал.
Мозг до крови намозолив,
в спор, не спросясь, не встречал.
Слова не скажет за вечер.
Слушать зато он умел..
Был он народом замечен,
был заподозрен в уме.

— Как-то молчит он не эдак.
— Взгляд его больно уж меток,
так и буравит и шастает..
— И уши ужасно ушастые..
— Видно, большого он разума,
слова не вымолвит праздного,
зряшных не терпит речей.

— Что говорить — книгочей...
Речи такие

вначале
в общем спокойно звучали,
в общем бесстрастно:

пока без накала.
Но, между тем, что-то в нас

иссякало:
хоть и не рвало давление пробок, —
то грозен, то робок,
а рос уже ропот,
и, вместе с ним,

об Учителе
слухи ползли всё значительней.
— Очень, мол, в книжках начитан,
знает, мол, всё, но молчит он.
— Только однажды про лёгку дорогу
кинул отважный намёк он народу...
— А в остальном нарочит:
губы на ноль — и молчит!

Были и скептики меж кривичами,
слыша такое, с насмешкой кричали:
— Вот так затея: директора пасеки
произвести в корифеи и классики!
— Всякий каналья нам вбить норовит,
что гениален и сверхдаровит,
каждый князёк, воцаряясь, нам травит:
он уж свернёт...

новым курсом направит...
Вожжи бы делать из этих вождей,
лучше бы не было в мире вожжей!
Кто насмеялся и членами дрыгал,
кто иступленно ругался с надрывом —
больно, мол, сладко житьё у папаши,
— ...ходит он гладкий и мёдом пропахши,
а мы с матюками и стонами
всё тянем-толкаем историю.
— А наши-то шкуры, — кричали, — дублёны,
а бабы все курвы, а девки гулёны,
а деды беззубы, а дети в рахите, —
подите их всех сволоките Никите...

На наши несчастья, на дурь и на дразги
ни в жисть не сыскать книгочею развязки...

Спорили люди до ссоры, до боли,
до оскорбления, до мордобоя,
с криками, с драками, с бранью,
в бане, в кино, на собраньи,
спорили с доблестью или по пьянке,
спорили в области и на Лубянке,
во пчеловоде искали, крича,
то ли

Христа ли,
а то ли хрыча,
а может, Кирилла с Мефодием,
а может, мерило к пародиям
на суд,
на права,
на прогресс,
на спирали,

что их кривичи за века насбирали.

"...Да что мы, подонки, Никиту поносим?..

Пойдём-ка — вдруг молвил один, — да и спросим,
о чём он молчит,

до чего он дорос...

Попытка не... как бишь его... не допрос..."

Был вечер.

То краткое время, когда
уже исчезают с воды овода,
а воинство комариное
покуда из лесу не ринуло.

Под старой ракитой, поближе к воде,
усталый Никита курил и глядел,
как батя, набитый соломой,
пугает ворон у столовой,
как нищий Пахом на шоссе у Двины
с дороги тайком объедает блины,
как, грустно мыча, у колдобины
стоят половинки худобины
под лозунгом: "ВДВОЕ УДВОИМ
ВНИМАНИЕ НАРОДА К УДОЯМ!"

Всё было привычно в родимом дому.

Всё было как восемь столетий тому.
Не ведал Никита, не знал и народ,
что ныне случится всему поворот...

Из-за верей, из-за копыл,
из-за ворот с укосиной
вдруг свист и гомон затопил
вечернее спокойствие.
Из-за ворот, из-за копыл
вдруг — разнобой и гвалт толпы:
— Эй, Никита-книгочей,
отвечай-ка нам: ты чей?
Что забился в щель?
Вылезай, кощей!
— Вылезай, кощей, похлебай-ка наших щей!
— Блудодей, атеист, от людей не таись,
не дрожи в сенцах, подождём — в сердцах...
— В бога мать да перемать, зажирели в теремах!
— Вылезай-ка подобру, а то влезу подберу...
— Кончай ломать комедию,
а то мы, как с кеннедею...

Никита вздохнул: "Вот и час мой... А жаль..."

Удары сердца слышал,
рубаху оправил, на клямку нажал
и вышел.

— Ты не трусь, не трусь, милой,
загодя не вешайся,
что народ тут намолол, —
это от невежества.

— Мы, Никита, не со злом,
мы покамест с просьбою.

Стань, Никита, наш заслон
перед силой грозною.

— От событий нищеты,
от движения тщеты,
от вращения
отвращения,
от прогресса защиты!

— Помогите, заступники,
их круги пристукните!

— Все народы как народы,
только мы как те уроды.
Есть в Аравии король,
есть в России Сталин,
а у нас нет никого,
чтоб задачи ставил...

— Есть во Франции де Голль,
есть на Кубе Кастро,
а у нас на нашу боль
не видать лекарства.

— Научи нас, Никитай,
во кручине не кидай...

— Стань учителем у нас,
запиши нас в первый класс,
загибай салазки —
мы на всё согласны,
только делу научи...

Так шумели кривичи...

...Медленно тухли в груди перебои.
Вновь стало оранжевым солнце рябое.
Смысла предсмертного лишена,
с неба спускалась на мир тишина.
Вот сквозь неё притекли, накатили
лиц негативы и слов негативы,
лишь по-кавказски сверкали белки,
словно клыки

или словно клинки,
в блеске и лязге страстей непочатых.
Но вот негатив стал давать отпечаток,
как будто трудился невидимый резчик:
знакомые лица, знакомые речи,
знакомое чучело при ресторане,
знакомые люди кричат: "Христа ради!"

— Христа ради, Никитай,
нам понятия накидай,
мы же люди, не Китай!

— Есть у галлов свой де Голль,
и взгляни на галла:
ходят, гады, хвост дугой,

галлам дела мало...
— Есть в Берлине свой Адольф,
а у римлян — дуче...
— Где ж из наших-то рядов
наш, советский, Дубчек?
— Есть в Аравии король,
есть на Кубе Кастро —
будь у нас на эту роль,
заступай на царство...

Натужно на ум приходили слова,
недружно, неверно, несмело сперва:
— Конечно... но только... зачем же шуметь...
да что вы, родные... да мне не суметь...
я больше по пчёлам... я, братцы, не знахарь...
вестимо... житьё у нас нынче не сахар...
невесел маршрут, по какому идём мы:
загибы, уклоны, крутые подъёмы.
Ну что за кривая — одни перегибы,
всё шишки и шишки — хоть раз пироги бы.
То шьём мы, то порем.
Скверним алтари.
Так худо, что впору итти в бунтари...
Но я не хочу начинать сабантуй,
но я не вскричу: "Подымись, забунтуй!"
История, — это, брат, штука, претонкая.
То гнётся подветренно,
то прётся трёхтонкою.
Её колею не заложишь бревном.
Её Δt не заложишь в бином.
Её никому обойти не дано.
Гони её в дверь — она влезет в окно...
Оставьте ж её:
что случится — случится.
А мой вам совет —
начинайте учиться.
Пусть каждый пастух,
хлебопашец, кочевник
рванётся к науке,
откроет учебник.

Пускай на досуге
крикун и бунтарь
к тетрадке в косую
придвинет букварь.

Пускай своё горе
зальёт в Пифагоре.

Распластанность тела и немощь души
пускай заглушит теоремой Коши.

Про тьму, про тюрьму
пусть не тянет он Лазаря —
пусть лучше ему
подчиняются лазеры.

Пусть не за права,
не за волю он борется,
а за справедливость
условия Лоренца.

Пускай кривичи
не идут в франкмасоны,
а пусть у гречихи
сочтут хромосомы.

Забудем века просвещения в Потьмах,
добьёмся пока прояснения в умах.

Твой вождь по закону
тебя обобрал,
а ты преспокойно
берёшь интеграл.
Тебя алыгвазины,
любя, отгвоздили,
а ты нос утри
и уткни в SU_3 .

Отдайте ж, вручите властям предержавшим
всё прошлое ваше со всем настоящим,
на похоти ихни, на тёмны дела
вручите свои животы и тела,
ищите зато над природою власти,
влезайте в нутро, в сокровенное влазьте,
творите свой мир, где наука в разгаре,
и вы создадите своими мозгами,
своими трудами, своими руками
на ихнюю косу надёжный свой камень!
Наука — как птица, как танк, как борзая:

Двиною промчится, на древность дерзая.
Удел революций, свобода речей,
видать по всему, не для нас, кривичей,
ни место, ни время, видать, не приспело им —
давайте ж, хотя бы научную сделаем.

Ступай же, народ, расходись по домам,
в сидячий поход кривичей подымай.

Корпите!

Копите!

Наукой владейте!

И вы победите!

Идите же, дети!

ТРЕТИЙ ПРИВАЛ

...Опять я при деле,
опять я завёлся.
...Истории дебри...
...Весёлые вёрсты...
Опять я дорвался
до вкусных поэм,
опять я назвался
и в кузов полез,
опять я за вирши,
опять я на поиск.

Опять я, как выше,
поплёл свою повесть.
Опять, как сначала,
я взялся за дело.
В ушах зазвучало,
в руках зазудело.
Сверкает огниво,
дымится мой трут...

...Плескаясь лениво,
струится мой труд,
покамест по плавням,
да сквозь верболоз,
пока не о главном,
а что набралось.
Но всё, что скопилось,
поэмы клешня
взбодрит, растопырясь,
и шмякнет плашмя.
Скреплю, что примстилось,
слеплю, что наплёл,
и стукну об стылость,
как об стул дуплём.

...Я долго транжирил
себя по-пустому,
ходил по ранжиру,
не ведал простору,

писал я с апреля
работу, в которой
искались запреты
в системе протонов,
трудился тяглом
на подножном корму,
аж скулы свело мне,
как съевши хурму.
Мычание в горле,
потуги, потуги, —
а перлы не пёрли,
а прели, а тухли...

А нынче я, братцы,
совсем не таков:
добрался,

дорвался опять до стихов!

Ей-богу! В натуре!
Я дожил! Я дожил!
Я Гоголь! Я Тувим!
Я тоже, я тоже!
Я снова писатель,
маньяк от стихов...

Ну, гады, спасайтесь,
да прячьте хохол:
ходить вам без чуба,
трещал ваш бобёр!

Свершилось чудо:
он снова попёр, —
со скрипом, со с криком
сквозь косность и стыль, —
мой жадный до рифм,
мой варварский стиль.

ПЕРЕХОД ЧЕТВЁРТЫЙ. СИДЯЧИЙ ПОХОД

*Raffiniert ist der Herr Gott,
aber boshaft ist er nicht.*

А.Эйнштейн

Проносились лимузины,
на развилке тормозили,
на прохожих под рогожей
озирались, рот разиня.

Мимо радуг ливень падал,
дождь по лужам крупно прыгал;
шёл пропагандистский кадр,
плешь и плечи скрыв под лыком.

Дождь стрелял как мотоцикл,
поясницы дождик ныкал,
слёзно нылось поясницам,
слёзы, слёзы по ресницам...

Шло немного по дорогам,
по шоссейным, вдоль кюветов,
мимо чайных и острогов,
мимо ферм и сельсоветов.

Им внимали, торопая,
говорили, что сектанты.
Из различных корифеев
приводили им цитаты.

Их

внимательные дяди,
не вступая в пререканье,
обвиняли в тунеядье,
отправляли в Туруханье.

Мимоходом, беззаботно,
нудно, словно бормашины,
подло, как из-под забора,
их газеты тормошили.

И ещё из-за заборов,
в предвкушении пасть оскалив,
своры отставных майоров
своры псов на них пускали.

Им

держава
все клозеты,

весь

подспуд свой распускала:
от подвала Литгазеты
до Лефортова подвала.

Но,

презревши пресс репрессий,
за апостолом апостол
стены градов,

стогны весей
брал с нахальством и упорством.

Вековой ломая фатум,
шли мессии,

грязь месили,
по трактирам и по хатам
ново слово разносили.

Дерзновенно и невинно
вдоль Задвинья шла лавина,
шла лавина новой веры,
наливая алым вены.

Шли пророки новой схизмы,
обивая все пороги,
заходя в ЦК и избы.

Вот что молвили пророки:
"Вместо пакостных пародий
на движение, на развитие
повернитесь к природе,
прямо в очи ей взгляните.
И тогда совсем другая

вам откроется дорога,
ведь, природу познавая,
вопрошаете вы Бога!

Знайте ж, братья:

то неверно,

что невидим лик Господень,
ибо Он ежемгновенно,
каждоместно к нам нисходит.

Не почил Он на покое:

дескать, создал мир, так вправе...

Нет, безделие такое

не в Его Господнем нраве.

Не пирует Он в веселье

там, среди небесных хлябей
 (это всё поповские выдумки)
 что ни утро, Он со всеми
 перевешивает табель.

Не над прахом поколений
 бородой своей трясущий, —
 Он — в пылу, в жару явлений,
 в них живёт Он,
 им присущий.

В час последний, в медь закован,
 Он не грянет нам сиреной, —
 (это тоже поповские выдумки), —
 Он — в гармонии законов,
 управляющих вселенной.

В красоте японских рыбок,
 в кутерьме метеосводок,
 в звёздах
 и в дезоксирибонуклеиновых кислотах,
 в превращениях К-мезонов,
 в каждой капле,
 в каждой лемме,
 в самом маленьком явлении

наш Господь реализован.
ВСЯК ПОНЯТЬ ЕГО СПОСОБЕН: ИЗОЩРЁН ОН, НО НЕ ЗЛОБЕН!
 Видишь: рябь от ветра в лужах
 покрывает воду вязью.
 Эти волны, можбыть, служат
 для Него обратной связью!

И когда Ω^-
 распадается каскадом, —
 можбыть, это Он не вынес,
 дал нам знать своим распадом.

Человече! Научися
 понимать язык Господень,
 шелест листьев,
 прелесть чисел,
 красоту открытья истин.
 Станешь ты тогда свободен”.

Видно, в жаждущую почву
 залетел Никитин вызов,

закрепился в почве прочно,
вырос,
вытянулся,
вызрел.

И летели, как по полю,
семена подпольной мысли,
и в науку всей толпою,
всей Двиною люди вышли.

Мальчишки с девчонками
задачки защёлкали,
девки с парнями
схемки паяли,
дети что-то лопотали
о красотах Лопиталья,
сваты бабы-бабарихи
разгребали логарифмы,
не скучали бобыли,
изучали группы Ли.

Пахарь, вставши спозарань,
обращался к тензорам.

Не поев, не попив,
он корпел, он копил,
в тайны света проникал
и не сеял — не пахал.

Не пахал он и не сеивал,
свет на свете всё рассеивал,

при лучине вычислял по вечерам
вклад в рассеянье квадратных диаграмм.

РЫБАКИ не забрасывали сеть, —
БУРБАКИ изучали они.

НЕ ЕРШАМИ наживляли перемёт,
А РЕШАЛИ уравнения взхлёб.

НЕ ЛЕЩАМИ угощали народ,
А ВЕЩАЛИ с высоких трибун.

НЕ ЛИНЯМИ любовались,
А МЕНЯЛИ переменные.

НЕ СО ЩУКАМИ спешили на базар,
А НАЩУПАЛИ критерий χ^2 .

Забыл скотовод про корма,
раздолбал теорему Ферма.

Вычисляя вихрь и поток,

позабыл пастух про батог...
Расширяли кольца алгебры
бабы вечером за прялками...

И не хаживал купчина в магазин,
он окрашивал фуксином миозин...
размышлял над связью ионною
и над важностью еёною...

На нужду народ не сетовал,
прямо с Господом беседовал.

Он к источнику наук приник.

Вместо хлеба грыз наук гранит.

...Лишь столетние старухи, лёжа косо на печи,
не одолев гранит науки, грызли просто кирпичи.
Очень странное явление, посмотреть со стороны,
представляло в это время население Двины.
Всяко дело-ремесло снегом белым занесло,
поросло крапивою, покрылось энтропиею.

Опустели все базары, все трактиры, все вокзалы,
и супружески постели, как базары, опустели,
люди бросили жениться и не сеяли пшеницу,
не палили кабана, говорили: "На хрена?!"

Им-то что, а вот в казне-то
недород: доходов нету.

Всё пустей она, пустей,
как базары, как постель.

Началось понемногу
шевеление властей:
отправляя в отделение,
выражали удивленье,
закатав в Тьмутараканье,
вслед кидали нареканье.

НАРЕКАНЬЕ ВЛАСТЕЙ АПОСТОЛАМ

Ах кончали бы вы голубчики свои задрочины
по вашей милости получки с покрова не плочены
вы бы мягче вы бы тише больно жёстко стелете
ведь у меня сам-сём детишек люди вы аль нелюди
да незаконных не соврать не менее как пятеро
ах ты мать да мать да мать да не могу нематерно

мне надысь иван парткомыч оказал конвертой помочь
разодрал конверту я а на поверку ни копыа
ну ни копейки ни гроша опешил тут буквально я
а благодарность выража да грамота похвальная
выходит мне да ваши штуки на своём тащить горбу
так видел ваши я науки в белых тапочках в гробу
ой не блажите мужики вас ждёт конец безрадостный
известно всем что ваш никита был агент израильский
а мы добры покуда с вами учим по-отечески
так откажитесь лучше сами от научной нечисти
не дурите мужики не ходите пороты
не дерите вожаки к небу свои бороды
не ходите под углом
не катитесь под уклон
А ИДИТЕ-КА ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ...
труд известно дело чести
так трудитесь честно вместе
и создаст ваш труд обилье
может сказку сделать былью!

Но как ни угрожали тому или иному апостолу,
как ни колотили кулаком по столу,
по мозгам,
по челюсти,
как ни расписывали узаконенной прелести
движения по развёртывающейся спирали,
но только время напрасно теряли,
всё упорнее, всё сильнее раз от раза
расходилась научная зараза,
и уже никакие меры не помогали
(потому что самое начало проморгали).

Увидала власть, что дело худо,
что налоги не поступают ниоткуда,
что спасти её может только чудо,
что все запасы скоро она съест —
и решила созвать народный съезд.

Привела в действие аппарат,
провела местные выборы,
потом районные,

потом удельные,
покрикивала себя за отдельные,
и в обстановке всенародного,
в условиях свободного
(и так далее, не стоит тратить времени на цитаты)
выбрала себя в депутаты.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИВАЛ

А за стихи платили деньгами.
Расценки были, был стандарт.
И те, в ком не было стыда,
они стихи за деньги делали.

Они их не читали девушкам,
как водится среди ребят,
а было всё равно им, сделавши,
на что стихи употребят.

Они их издавали книжками,
забыв порядочность и стыд,
словами нужными и пышными
забив печатные листы.

Восторженно в стихах кудяхтали.
Давали править их редактору.
Кромсали ради тиража.
Равнялись, линию держа.

А песни пели ради радио,
заради разных передач,
подачек ради, ради дач,
а не рыдая, а не радуясь.

Но было плохо без поэзии,
была без песен пустота.

И вдруг она меж нас прорезалась —
легка, естественна, проста.

Из толчеи, из шума города,
всей жизни нашей сволочной —
возникла, в мир величиной,
запела так, что любо-дорого.

Она запелась, словно в древности,
собою полня города.
Она рождалась по потребности
и выпивалась как вода.

Меж двух замеров электроникой,
меж двух уроков в перерыв
моря поэзии нетронутой
мы открывали, переплыв.

Ставали физики поэтами,
учителя, врачи, юнцы.
Стихи, стихи пошли-поехали,
распутывая все концы.

Они звучали электричками,
с гитар оттаявших сочась,
они казались эклектичными
и просто слабыми подчас.

Но никли, кто писал за никели,
перед этой уличной строкой,
перед поэзией людской —
мы их затюкали, заныкали.

Но упало
возвеличенное,
обдуманное, оглавленное
искусство в рубль строка ценой —
перед нашею глухой стеной.

И были голы короли,
перед судом людским представшие.
И жизнь,
и правда,
и бесстрашие
опять в поэзию пришли.

ПЕРЕХОД ПЯТЫЙ. ПРАЗДНИК ВЛАСТИ НАД ЛЮДЬМИ

Пусть соперничают все ученые.

Мао

И вот к казне, к её порогу
в указанный в мандате час,
чтоб новый стимул дать народу,
вся власть согласно собралась.

Идут, дородны и мордаты,
как за баржой бежит баржа,
перед собой свои мандаты
как животы свои держа.

Идёт элита—разэлита.
По лицам благодность разлита.
Как глянешь — сразу тошнота
подступит к низу живота.

Идут багровы, краснолицы.
Гнут, как подковы, половицы.
Собой подряд ряды багрят.
Трещит и гнётся кресел ряд.

Им тесен зал, им тесны кресла,
не лезет зад, не лезут чресла,
ни повернись, ни заелозь —
откуда это всё взялось,
зачем сошла, по воле рока,
на ихню голову морока?!

...Волнуется за рядом ряд,
гудят ряды, себя корят
за то, что малость опоздали,
что сразу бунт не обуздали,
готовят этому дерьму
процессы, каторгу, тюрьму
за их научное хлыстовство,
за их гандизм,
за их толстовство,
за их заморский саботаж,
за их за мерзкий за бунтаж.

Вдруг — удивительное дело —
ещё сильнее загудело,

сгустился, слился в унисон
гул возбуждённых голосов.
Гудят, как трутней полный улей.
Что там за слух пронёсся пулей?
Велят очистить, что ли, зал?
Докладчик, что ли, мысль сказал?

Нет, нет, ещё и съезд не начат,
не тронут на столе графин;
ещё не спрятался докладчик
за ним, как снайпер-белофинн;
ещё не поднята властями
правленья первая бразда;
еретикам ещё не стали
давать партийного дрозда;
ещё идейные драгуны,
вопя, не кинулись с трибуны;
ещё улыбочек лучи
не рассыпали п...ервачи, —
а зал гудит.

И неспроста:
партийной тайне в разглашенье,
пронёсся слух из уст в уста
о том, что НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ.

Нет, невозможна тишина.
Весь зал волнуется, судача.
Неужто вправду решена
такая важная задача?
Ужель опять кормило власти,
что столько лет кормило власти,
наполнит злая струя,
родная, смачная, своя?!
Ужель опять они наладят
то, чем вертели дед и прадед,
ужели снова оснуют
за те проценты и промилле,
что полагались при кормиле,
себе и сытость, и уют?

— за это место у кормила
готовы мы отдать полмира

— ух братцы что за аппетит
наголодались аж мутит
— глянь сразу хлебушком запахло
— эй кто так шутит что за падло
кончай могу и в рожу дать
кому шутить пришла охота
— да это ик вот тут икота
отрыжка прошлого видать
— я лично правил только вправо
а что

стесняться что ли право.
и так забот невпоровот
не до приличий —

это зря вы
хороший левый поворот
порой полезительней чем правый
бывало оттепель введёшь
зашебуршится молодёжь
поставит острыми углами
вопросы
выдвинет программы
давай мечтания плести
глядишь новаторство в чести
стишки абстрактное искусство
смешки и прочее паскудство
простор

восторг
ажиотаж
виденье новых смелых курсов
а ты их раз на карандаш
да под конвой да счётом в кузов
а сам обратный поворот
— подхода требует народ
— правление требует уменя
— нет ты народ сперва уважь
пойми души его томленье
а после можно и реванш

— и всё ты врешь и всё ты врешь
заматерелый обскурантщик
теперешняя молодёжь
да разве та она что раньше

где их порыв
где их идейность
где стойкость прежняя и дельность
 вот прежде это молодёжь
 бывало на расстрел ведёшь
 так видя что уже какук
 что самая осталась малость
 интернационал дают
 неизгладимо получалось

а нынче разве молодёжь
один мудёж

— ты малый прав
не тот масштаб
народ мельчает к сожаленью
вот ты возьми к примеру баб
(всеобщий скрип и оживленье)
я вот взял на днях одну
и на лодке за двину
ну завёз её в заливчик
ну залез сперва за лифчик
боже
плоская как стол
плюнул я да прочь пошел

говорят что нет свободы
эх да мне бы их заботы
что свободы нету баб
— верно кум
— не тот масштаб
-- не тот размер
— размах не тот
— а у меня на днях с одною
— хотите свежий анекдот
про рабиновича с женою

Скрипят ряды, улыбки скалят,
догадки разные плодят
и, не стерпев, слюну пускают,
и в нетерпении аплодят...
...Ах ты, барыня-сударыня моя!
Как слеталась, сталбыть, стая воронья.
Словно бабы, распродаться на торгу,

словно барды, состязаться в МГУ.
 Собирались, ворон к ворону,
 не для свары, не для кворуму,
 расседались потеснее на суках,
 заедались на бесснедьё, на закат,
 на отсутствие дальнейших перспектив.
 Очень грустен был у бардов бардаktiv...
 Самый бравый их вороний генерал
 вдруг завёлся, закартавил, заорал.
 Он представил план спасения,
 что ни слово — золото-серебро,
 золото-серебро да скатен адамант.
 Штуку верную приладил атаман.
 Быть им вновь при интересе при своём...
 Ах, давайте же на радостях споём!
 Ну-ка, ворон, дружным хором
 выйди песню петь на форум,
 споём Барыню
 за компанию.
 Ах ты, барыня-толстуха,
 каблуками стук-постукай,
 грохни по мосткам,
 словно по мозгам.
 Выйди, барыня, налево,
 выкинь, барыня, колено,
 взвизгни весело,
 выдай песенку...
 Выйди, барыня, направо,
 выплынь на люди, как пава,
 плавай, плавай, не плошай,
 нас, шалава, ублажай!
 А барыня заболела, —
 ни направо, ни налево.
 А у барыни болезнь,
 в животе ли что ли резь.
 — А ты, барыня, полегче,
 а то барыню полечим.
 Мы ведь тоже не просты,
 тащи барыню в кусты.
 — Я на барыню как кочет,
 а барыня-то не хочет.

Я на барыню как змей,
вопит барыня: "Не смей!"
— Эй, вы, парни, не взыщите,
легче барыню лечите;
пока лечите —
покалечите...

— Уходи-ка с богом, старый,
уходи, не стой, как статуи,
под руку не кричи,
мы не первый год врачи.
— А барыню за крапивой
а барыня завопила
а барыня у крыльца
а барыня смеётся
— А барыню за телегу
а барыня взматерела
а барыню за дрова
а барыня здорова

легла барыня на сене а у барыни
веселье а у барыни веселье неизвестное доселе три деревни
два села а барыня весела а барыня весела заплясала-завела
повела она плечами извела она печали а барыня барыня...

...Праздник в стане воронья,
не спортивный, не престольный,
а п...остыдный, непристойный,
от которого тоска, —
праздник первого куска,
праздник первого жеванья,
исполнения желанья,
окончания поста, —
свальный танец живота.

И,
собою солнце застя,
коромыслом задымил
праздник власти,
праздник власти,
праздник власти
над людьми!
— Стук да стук, да перестук,
а мне, право, недосуг,

я не лодырь-скоморох,
мне делов непроворот.

— А делов делов делов-то, —
генерал придумал ловко, —
мы не станем на рожон,
мы их стадом запряжём.

— Мы не ломим, мы не спорим,
мы ягломов засупоним.
Если сделать всё умно,
будет полное гумно...

...Гуще дыма коромысло,
пляшут власти сноровисто,
свищут,

топают,

частят,

хвалят двинцев,

не честят:

— наши двинцы не таранты
наши двинские таланты
светлы головы
сердцем голуби

— да и мы не обскуранты
чем годны для нас таланты
сразу поняли
засупонили

— мы учёного коллегу
запряжём в свою телегу
нынче все у них равны
а мы подарим им чины

— чтоб державным он основам
не грозил умом и словом
чтоб не трогал наш уклад
спустим мы ему оклад

— мы введём и цель и стимул
мы совет дадим расти мол
от покоя не растай
над собою вырастай
чтоб не млел как блин в сметане
чтоб не цвёл наглец цветами
чтобы истины нахал
без корысти не искал

— мы подыдем их на стебель
мы введём и чин и степень
чтобы были все цветы
самой разной высоты
— мы дадим им хлеб и избы
лишь бы был порядок
лишь бы
и для нас для воронья...

— ах барыня барыня!!!

Власти барыню плясали,
лес и доли сотрясали.
Вверх взлетал вороний грай,
оглушал свободный край.
Нёсся краем обалделым,
заставал людей за делом,
за их сладким торжеством —
за беседой с божеством.

И ещё не знали люди,
что:
что было, то и будет,
что прогресса колесо
снова с места понесло,
что опять их ждут спирали,
что опять начнётся ралли
на машинах

вдоль кольца
без начала и конца,
что опять нечистой силой,
сверхмарксистской,
прогрессивной,
им дороги замело,
их в сугробы завело,
что локальный двинский демон,
ихний личный бес хромой,
им обратно свинство сделал,
развернул вперёд кормой,
что опять он, насмех курам
обряжённый в дикт и жесь,

на страну свою

Тимуром

налетит рубить и жечь,

что сверхсчётная машина
свой ремонт не завершила,
и до блоков их широт
не дошёл ещё черёд,
что хоть в местном Нью-Париже
станет уровень повыше,
но в основе, как ни кинь,
будет всё равно Пекин,
что ещё заставит Дуньку
поплясать под ихню дудку
эта стая воронья...

.....
Ах барыня барыня!

МЫ У ЦЕЛИ

Я читывал Сэлинджера
и слышал имя Пруст.
Сам человек солидный я
(вперёд людей не прусь).
Я не из фармазонов
(не был, не слыл треплом)
и в общем образован
(смотрите, вот диплом).
Кончал физфак когда-то,
учился, выросал,
стремился вдаль куда-то,
а после перестал.
Поверхностен (покаюсь),
но иногда неглуп,
в науке я покамест
ещё не полный труп,
люблю решать задачки
(пишу, мозги чешу),
а клюну на подначку,
так трудную решу.
Ну, в общем, я не дурень
(хотя и не ахти...)
и на людях культурен
(хотя и не актив).

И всё ж,
и тем не менее,
я безнадёжно слеп,
когда иду по времени,
когда ищу в нём след,
когда веду стихи свои по временной оси,
провозглашая истины о коренной Руси.
Порой решишь: он найден,
к её мытарствам ключ,
но вся разгадка — на день,
и снова гаснет луч.
И снова смотришь слепо,
как глупое ягня,
на стихотворный слепок
и думаешь: "Фигня!"

И вновь не видишь смысла,
а лишь один абсурд,
невежества и свинства
над правдой самосуд.

И, в сотый раз балдея
над древним чертежом,
не вижу в нём идеи я,
а вижу чёрт-те-шо:
торчит, как над Арменией
массивный Алагёз,
несчитанный,
немеряный,

всесильный Алогизм.

Я вновь, набравшись храбрости,
черчу чертёж Двины,
набрасываю абрисы,
что всем-всем-всем видны,
что даже и младенцами
усвоены давно,
а цели,

а тенденции
не вижу всё равно;
её не вижу участи
(провал, видать, в мозгу),
предел её ползучести
промерить не могу,
вперёд посмотришь — мать честна! —
не разглядишь ни зги...

...Так смею ль в этом качестве я засорять мозги?
Нет, не такой, читатели, вам нужен поводырь:
решительный,
блистательный,
глазастый

богатырь,
чтобы читал грядущее,
как праздничный плакат,
чтоб позади идущему
казался путь покат!

А я
бросаю
шестерни педалями вертеть!

а уж власти тут как тут:
застолбят и засекретят,
и создателя отметят —
во светила возведут.
А не сладок разве стимул —
сделать вклад и стать светилом?
Этот стимул просто клад:
все дают за вкладом вклад...

Есть во храме зал огромный,
в этом зале — сейф укромный,
в этом сейфе — длинный ящик,
сверху надпись: "Для входящих".
Вклад получают, ящик вынут,
вложат внутрь — и вновь задвинут,
сейф захлопнут, звякнет ключ
и закапает сургуч,
и закроется отверстие —
тут секреты все на месте,
не у Господа в горсти —
их отсюда не свести...

...Здесь друг с другом все знакомы
до зевоты, до оскомы;
видя новое лицо,
выбегают на крыльцо,
вычислять бросают вычет,
обсуждают, пальцем тычут,
забывают про дела,
проводят до угла —
здесь к пришельцам не привыкли...
Ну и что ж!

А мы — проникли!
Мы здесь с вами поживём,
погуляем,
поглазеим,
пошуруем по лазеям,
хлеб задвинский пожуюм...
— Да, но хлеб, **НО ХЛЕБ ОТКУДА?**
Кто их кормит?
Что за чудо?
— Эх, читатель, милый друг,
а забыл ты про старух?!

Про каких? — Про тех, столетних,
неспособных, распоследних —
тех, кто, лёжа на печи,
грызли молча кирпичи?!
Им-то власти и велели
потрудиться, поднажать —
на пути к заветной цели
хлебом всю Двину снабжать...

Всё, как видишь, гармонично,
всё задумано отлично:
эрудиты Бога славят,
власти ими мудро правят,

а старухи — хлебом с квасом заполняют брешь.
Так что, братец, не стесняйся,
ЕШЬ!

О С Ь Х. ПРОГУЛКА ПО ХРАМУ

ПОЭМА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЙЗАЖА

Над среднерусскою равниной
рассвет несмелый занялся.

Над среднерусскою равниной
пахнули хвоею леса.

Над среднерусскою равниной
луч солнца

 вверх скользнул, багров,
запахло взрытою мякиной
и сонной свежестью коров.

Над среднерусскою равниной,
над речкой древнею Двиной
всплыл вверх туман

 змеёю длинной,
змеёю в двести вёрст длиной.

И

 за бревенчатой деревней,
дремучей,

 ветхой,

 дряхлой,

 древней,

спокойно всплыли в небеса

балконы, шпили, корпуса.

Над стёклами, над куполами

отсветы солнца запылали,

в могучих солнечных лучах

привстал Задвинск —

сажень в плечах, —

зашевелился, встрепенулся,

росой умылся, отряхнулся,

как полотенце кинул тень

через плечо.

 И начал день.

...Взыграли мускулы под кожей,

прошёл по улице прохожий.

И, тишь небес переколов,

гул зазвучал колоколов.

Бушует гул, глушит огулом.

”Берись за ум! — гудит авгурам. —
Кончай, авгуры, ночевать,
вставай науки начинать!
В храм,
 в Божий храм,
 жрецы науки!

Прикройте срам!

 Наденьте брюки!
В путь, закусивши удила!
Вас ждут великие дела!
— Прочти Гурса!
 — Сочти былинки!
 — Пойми пульсар!
 — Сыщи билингвы!
— Штурмуй загадку $K_2\pi$!
— По-марсиански завопи!
— А ну-ка, вздрогнем, корифей!”

И мы, схватив свои портфели,
надраиваем ордена,
натягиваем удила,
берём карьер — и вниз по маршам,
скорей, скорей — хвостами машем,
на плац, в манеж, в свои взводЫ,
равняем строй, двоим ряды,
бежим шеренгами к воротам,
рысцой расходимся по ротам,
резвей, в галоп — нас ждут труды...

Несутся роты, взвод за взводом,
как ночь за днём,
как год за годом.
Пылит народная тропа.
Не заросла — вот и пылится.
И, как цветы, горят в петлицах —
науки символ — черепа.

¹ Вариант:

И, как цветут цветы в теплицах,
горят в петлицах черепа.

Как жарок блеск костей берцовых,
как дружен скрип сапог кирзовых,
как чётко шаг в одном строю,
как сладко сать, попав в струю,
как хорошо в родном краю,
как хорошо в краю родном,
где пахнет хлебом и вином...

СРЕДИ СКАЧУЩИХ — И Я, ВАШ БУДУЩИЙ ПРОВОДНИК. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

...Вот, кстати, третий в пятом ряду,
авгур с серьёзностью во взгляде,
красивый сам собой брюнет —
лицом — как яблочко-ранет —
так это я при всём параде,
пират пера,
джигит тетради,
Двины восторженный поэт,
кузнец протезов стихотворных,
творец баллад,
травец баланд,
претензий полный смехотворных
на поэтический талант.

Какие у меня шевроны!
Кирза — на зависть всей Европы..
Две новых лычки на плечах
о доблестях моих кричат,
а что за блески на шевроне:
по два рубля аршин басон!

Я горд, что первым в нашем роде
добрался до таких высот.
Темна корней моих легенда.
Был дед портным, отец ткачом.
А мне мундир интеллигента
родною партией вручён.
Я ею вспоен, ею вскормлен,
я весь её — с листвою и корнем.
Как дуб стою я на посту,
пускаю корни и расту.
Не сирота я при дороге —

интеллигент я при народе,
в обмен на сало и пшено,
на миску жирного кандёра
тружусь я на него подённо:
мне мысли мыслить вменено.
А ведь не каждому позволят,
не всем доверят этот акт:
бывают гады, что позорят
наш полукласс,

ведь это факт!
Нет-нет, а встретишь ты фрондёра —
вот я б кого лишал кандёра! —
который лезет обсуждать
с чем велено пообождать.
Ведь не секрет, есть горе-Марксы,
что возмутить стремятся массы,
чей ум, как щёлок, ищет щель:
пролезть, разъесть, замызгать щель!
Я — не таков. Я связан тесно
с душой народа.
Мыслю — честно:
я враз придерживаю прыть,
случится мне не то открыть.
Известно, волка кормят ноги.
Так кормит ум ученых многих.
Я ж — не таков. Жую свой кус,
за тайной дичью не влекусь.
Я мыслю, тем и существую.
Но не стремлюсь я

подчистую
всё

обсомнить своим умом:
я, как учёный, знаю, чую —
нет истины без аксиом...

ЗДЕСЬ Я, ЧИТАТЕЛЬ, НЕМНОГО ОТВЛЕКУСЬ

..Пардон...

..Какой чудесный запах,
какая мощь и глубина!
Нам приготовил чудо-завтрак

пищеприёмный комбинат...

...И вот нас вносит,
взвод за взводом,
в кормёжный зал
парадным входом.

Сверкают никель и дюраль.

Наводит радио мораль.

По стойке смирно встали миски,
налитые до верхней риски...

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СКРОМНО УМОЛЧУ. ПОСЛЕ
ПРИЁМА БИОМАССЫ — ОПЯТЬ ПОСТРОЕНИЕ.
ДО ХРАМА УЖЕ РУКОЙ ПОДАТЬ

...И любо нам, слегка вспотевшим,
опять шагать в одном строю.
Пылим, свистим, натуру тешим,
поём любимую свою:

ПЕРВЫЙ ВЗВОД — ЛИРИЧЕСКУЮ:

1. У солнца новый косинус.
Видать, нехватка пороху.
Оно свернуло к осени.
Его швырнуло под гору.

Эх, эх, горе не беда...

Его сыны и доченьки —
его сады и ноченьки —
с их верами, с их кредами
светилам бывшим преданы.

Эх, эх, море не вода,
лад в лад, ряд в ряд
равняй взвода...

2. А наши-то желания
опять площадно выгнуло,
опять страну Жулябию
в который раз воздвигнуло.

Эх, эх, горе не беда...

А мы, ребята-паиньки,
все ждём-пождём без паники,
надеемся, безгрешные,
на дали на безбрежные.

Эх, эх, возраст не года,
стройсь в два ряда,
выводи взвода...

3. Скулит тоска под кронами.
Горит листва багровыми.
Придёт зима с погромами,
покроет нас покровами.

Эх, эх, горе не беда...

Зажжём мы солнца новые,
сойдём с дороги торные,
сбежим в ковчеги Ноевы,
в свои лаборатории.

Эх, эх, пойло не бурда,
лад в лад, ряд в ряд
равняй взвода!

ВТОРОЙ ВЗВОД — БОДРУЮ, В ДВА ГОЛОСА

ПЕРВЫЙ

ВТОРОЙ

Нам сомневаться не к лицу —

— мы выросли на плацу.

...Кто прокурор, а кто ответчик?

— В одних покоях нас растили.

Кто из волков, кто из овечек?

— В одних помоях нас крестили.

Из изведённых, из изведших?

— Одной ложью нас растлили.

Из изувеченных навечно?

— Одной ценою мы простили.

ВМЕСТЕ

Опутаны одной петлёй,
мир строим радостный и светлый
на этом плоском на плацу,
где под ногой хрустят височки,
где кровь посыпана песочком,
разглаженным потом носочком.

Нам сомневаться не к лицу —
— Нам сомневаться не к лицу.

ТРЕТИЙ ВЗВОД — С...ПОРТИВНЫЙ МАРШ

Я снизу вылез,
я был внизу.
Мой путь извилист:
я вверх ползу.
Галоп на брюхе,
на бёдрах рысь.
Подобно мухе
ползу я ввысь.
Меня пинают,
а я ползу,
напоминая
змею гюрзу.
Таков мой навык:
бросок, укус —
и снова наверх
пролёг мой курс.
К верхам с...портивным,
на штурм высот
по серпантинам
меня несёт.
Юлю, как виллис,
как червь ползу,
я наверх вылез —
а был внизу.
Я был как ветошь.
Я был как вошь.
Я стану светоч.
Я буду вождь.

Чем ближе храм, тем громче песня.
Звени, мотив, играй и пенься.
Когда поешь, когда поёшь —
и жизнь мила, и мир хорош.

И ИЗ МОЕЙ ГРУДИ САМИ СОБОЙ
РВУТСЯ ВЗВОЛНОВАННЫЕ СЛОВА:

О блинный край, молочны лужи!
Ты дорог нам, тебе мы служим.
О край, где тухлые моря!
О край, где пугало хмыря!
Где каждый стог встречают звоном,
и где простор и рай воронам!
Дух твой старинный не исчез:
вон жучкин лай звенит с небес.
Вон мыш знакомый на канате,
вон плешь, где хлеба, как в Канаде.
А вон кобыла без хвоста
у кукурузного моста.
А там арап с пустынь Синая
залёг, страдая и стеная,
немыт, загажен, без одежд,
но полный сладостных надежд.

.....
А ВОТ И ХРАМ, РОЖКОМ ПОДБИТЫЙ
.....
САМ ГЛАВНЫЙ ЖРЕЦ СТОИТ СО СВИТОЙ
.....
СДАЮТ СВЕТИЛА РАПОРТА
.....
ЛЯЗГ... ДВЕРЬ В НАУКУ ОТПЕРТА
.....

ТАКОВЫ ПЕРВЫЕ МИНУТЫ
НАШЕГО ТРУДОВОГО ДНЯ

...Вот взяты первые высоты.
Открылся в улее леток.
Сок в соты понесли сексоты.
Стукач схватил свой молоток.

О всех заблудших и пропащих
сигналы SOS послал клепальщик.
Донёс доносчик свой донос
на изобилие Спиноз.
Любовью к родине гонимы,
зашевелились анонимы.
От вклада в дело посинев,
закончил труд пенсионер.
Злодеи первые раскрыты.
Забдели первые рескрипты.
§1 обагрив,
слетел с вершины первый гриф.

.....
Включились первые моторы.
Пустились первые протоны
в сто первый трудовой виток:
дал ускоритель первый ток.
Помалу набирая резвость,
пошёл магнит на гистерезис,
и, словно месяц над Днепром,
зажётся первый игнитрон.

Ещё неловко, неумело,
распалась первая Ω ,
и развалился на ходу
 π_0 — мезон, её продукт.
Собою счётчик осчастливив,
пронёсся электронный ливень,
итог в дисплее отразив
эксперимента-инклюдив.

Взял бывший летописец Пимен
(он ныне видный спец по спинам)
в обкладки оператор ψ ...

.....
Настало утро на Руси.

И МЫ МОЖЕМ, НАКОНЕЦ-ТО, ПРИСТУПИТЬ
К ЭКСКУРСИИ. ВОЙДЁМ ЖЕ В МНОГОЛЮДНЫЙ ХРАМ

Алтарь во храме и колонны.
Входя, охране бьёт поклоны
отряд жрецов. И меж баляс

(балясы — столбики к перилам)
на землю валится, молясь
Мефодьям разным да Кириллам.
Замрёт ничком, прильнув к портфелям, —
встаёт потом, идёт по кельям
к своим богам, к своим трудам.
Пойдём и мы по их следам.
Свернём и мы за ними следом.
Сверкнём

от них заёмным

светом.

В их деловую кутерьму
открытий, лекций и комиссий —
то по коврам, то по дерьму
за алтари, как за кулисы.
Не хмыкай, если отразься,
вдруг

здравый смысл,

до шуток лаком,

предстанет нам с обратным знаком,
каким он не был отродясь.
Побереги-ка возраженье,
сумей явление понять:
на то оно и отраженье,
чтоб знак у вектора менять..
Итак, друзья, — в обход по храму.
Поэмы выполним программу.

НО ПО ПОВОДУ ПРОГРАММЫ Я ДОЛЖЕН
СДЕЛАТЬ ОДНО РАЗЪЯСНЕНИЕ:

Сперва она была иной:
дотошною, с версту длиной.
Сперва я проявил усердьё.
Хотелось в дружеской беседе
дать обстоятельный отчёт
про всё, что гложет и печёт.
Желал в ответах и вопросах,
в картин изысканном ряду
свой отразить культурный дóсуг,
своих друзей, свою среду.

Хотел свой храм, науки флагман,
отобразить в движении плавном,
дать крупным планом экипаж, —
солидных молодых учёных,
своим призванием увлечённых, —
их страшных споров рукопашь,
их затаённые беседы,
их стадионы, их бассейны,
их зимний скейт, их летний кемп,
их мыслей тембр, их жизней темп.

Но вижу я: не сбыться планам,
мне не по силам быстрый флагман,
слова — сплошной неадекват:
уменья, видно, недостаток.

Я — не творец больших полотен.
Был первый план фальшив, порочен.
Небось, не зря нейдут слова:
в стихах отчётов не быва.
Не всё поэзии подвластно.
Олимп науки — не Парнас.
То не взлетает, что погрязло.
А я как раз, ну словно нáзло,
прилип к науке, в ней погряз.

Выходит ключ — в отборе факта?
Но отбирать неловко как-то:
родит искусственный отбор
во мне естественный отпор.
Затеяв фактам рокировку,
легко скатиться в лакировку,
легко реальность очернить,
тем самым — вред ей причинить.
И вот передо мной задача:
ни в чём прав ваших не занача,
не смея капать на мозги,
кой-где маршруту дать изгиб...

НО И НЕ С ТАКИМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЛАСЬ
НАУКА: НА ЭТОТ СЛУЧАЙ

есть, разработанный шикарно,
научный метод Монте-Карло —

идти, куда глаза глядят,
кидать монету наугад.
В стихосложении он не признан.
Поэтам, тонким и капризным,
им невозможно, им слабо
лишать самих себя свобод:
да как же можно прихоть генья,
процесс горенья и творенья,
стихов таинственную нить
случайным числам подчинить?
Нельзя ломать поэта прихоть,
нельзя его заставить прыгать!
...Но я учёный, не поэт,
особых там

 амбиций нет,
не жажду самовыраженья.
И я процесс стихосложения
переведу в один присест
во стохастический процесс.
Создам я маленький приборчик.
Такой волчок. Ну как клубочек.
Пушу его. И пусть волчок
поэму за собой влечёт.
Итак, беру.

 Бросаю в здание.

 Пошло случайное блужданье...

...Свернём налево.

 Здесь порог.

Ещё налево. Тут ступеньки.
Что, пахнет? — Это здесь хорёк,
да мы привыкли, нам до феньки.
Ручной хорёк, он в храме страж,
всеобщий друг, любимец наш;
он силы духа яркий символ,
живой укор научным силам...
Вот от него, свой дух возвыся,
в проход...

 Эй, где ты, отзовися!

Ну так и есть — упал в подвал!
Вставай! Штаны-то не порвал?

У нас тут склад: старьё, препринты,
лежат, молчат, мешком прикрыты...
Вон там — ошибки прошлых лет.
Прикрыл — и вроде бы их нет.
А там навалена в корыте
труха закрывшихся открытий.
В том сейфе, под защитой пломб —
патриотический апломб,
в тех папках — преданные креды,
в углу — забытые секреты,
а отработанный экстаз
сливают вот сюда, в экс-таз.
Вон там пророки —

видишь свалку?

Вон, в штабелях лежат вповалку,
там те, в ком больше нет нужды,
к ним — ни любви и ни вражды.
Там все знакомые фигуры:
такие же, как мы, авгуры,
играли, как и мы, в молчанку,
жевали, как и мы, мочалку,
как мы, проникнув в суть времён,
её скрывали под враньём,
с пустой душою лезли в боги —
на свалку брошены в итоге...

Вон Маяковского скелет,
один костяк, а мяса нет:
растеребили на цитаты...
А вон, гляди, наш хмырь усатый.
Огромнейший, взгляни-ка, бюст —
тяни, не бойсь, внутри он пуст.
А там? — Честнейший из злодеев,
писатель Александр Фадеев;
ох, участь этого хоряка
была блестяща, но горька:
и до сих пор смердит мокрота
литературного банкрота...
— А тот? — Покойный классик Федин,
забытый клад забытых бреден
о позабывшейся войне...

— А тот на вороном коне?
— Так это ж ангельского чина
рантье, громила, казачина.
Что ж — и награда Нобеля
отмыть не в силах кобеля...
— А там?

— Вглядись-ка хорошенько:
десятиклассник Евтушенко.

Сотрудник — но бунтарь в душе.

Душою чист — но весь в парше...

А вот ещё — феноменальный
творец изоп, певец анальный
и обколачиватель груш,
собой почтивший нашу глушь...

.....

А уж журналов да подшивок!

Да самых наглых!! Да паршивых!!

История родимой лжи
здесь, как на кладбище, лежит.

Внизу покоятся, как предки,
газет суворинских комплекты,
а сверху — наши кочета,
тем, старомодным, не чета!

В порядке строгом, как в кадастре,
стоят толстенные пласты
всех форм новейшей lie-industry,
всех достижений клеветы...

...Бывало, в прежние лета
боялась света клевета,
шныряла в маске и накидке.

Даст человеку под микитки
и спрячется: "Мол, я не я!"

Смущалась, что ли, от вранья?

В подполье вёл работу Яго.

Не развернёшься... Вот бедняга...

Но устарели эти фигли,
мы наш, мы новый мир воздвигли.

И вот внимаем опупело,
как в исполнении a capella
как правца, страстна и проста,

ВТОРОЙ ЭТАЖ

...Но что ж мы всё про храм, про пакли?
Бежим, покуда не пропахли.
Скорее на второй этаж,
там тот же дух, да прыть не та ж:
здесь все мертво, а там живое,
там бурно бьётся ретивое,
здесь гладь, а там не тихнет гам —
бьют не под дых, а по мозгам.

Там нет царя, там нет святыни,
там скачут на любой скотине,
страстей там пышет самовар,
там беспрерывный семинар...

...Сейчас песочат новый опыт —
страстей разгар, обиды ропот,
потопы цифр, пожар в Крыму —
тут есть где разойтись уму,
тут есть где спинам разогнуться,
тут есть где слову сказануться,
границ, запретов нету тут.
Свободы край! Какая прелесть!

ВСЕ ЖДУТ: ГДЕ ТА ОСЛИНА ЧЕЛЮСТЬ,
КАКОЙ РАЗГОНЯТ ИНСТИТУТ...

Вон Боб-стажёр членкору Яшке
дал свежей формулой по ряшке...
Там кандидат наук Арон
нанёс директору урон...
...Тот Голиаф, балда по виду,
дал фору мудрому Давиду...
...Тот коллектив статью кроит:
идею делит на троих...
...Вон Лидка с первой же попытки
дала супругу под микитки
(держись уже умней, супруг!
народ здесь жох — жену сопрут!)...
...Обрывки фраз, доска и мел,

нахрап, экстаз, кто смел — тот съел;
там у доски сейчас смотрины
невывулившейся доктрины,
там душат яростно птенца,
не вышедшего из яйца:
пожатья плеч, улыбки, гогот,
хохочут — перестать не могут...

Но мученический венец
принять не думает птенец:
миры сшибаются с мирами,
ядро вонзается в ядро,
Щварцшильд сшивается с Минáми,
свет предстаёт частицей ρ ,
летят продольные нейтрины,
неприкасаемы, незримы,
через вселенной пестроту
беспечно, как сквозь пустоту...
Птенец — взгляните на уродца! —
упорен, даром, что урод —
клюётся, в руки не даётся,
шипит, топорщится, орёт —
и вдруг поплыл, как лебедь юный
(о грудь! о шея! о извив!),
своей красою мир подлунный
навек отныне уязвив!

ВНИМАНИЕ! ЗНАКОМИМСЯ С ДИРЕКЦИЕЙ...

Вот наш верховный жрец Кандыба!
Вон там, в толпе... Такая глыба...
который лысиной лобаст...

Ух, на науки он горазд!

И остроумен свыше меры!

И музыкант!

И вхож во сферы!

И эксплоратор атмосфер

Венеры, Марса и Цереры.

И,

что для нас всего ценнее,
знаком он с музыкою сфер.

Он наш Моцáрт, наш Бах-Бузони,
хотя в другом диапазоне.
Сквозь шум Земли (топочут взводы,
стучат борцы, взывает зверь)
ему таинственные звоны
несёт эфир из высших сфер.
Знать, у него есть в ухе вентиль,
где воет всласть эфирный ветер,
а белый шум сведён на нет.
Он чует дальних гроз раскаты,
борьбу светил,
судеб закаты,
соединения планет
и сговор мерзких камарилей,
и лёд последних говорилен,
и гад мирских подземный ход,
и лёт несметных эскадрилий,
и мерный шаг морских пехот.
Ещё, глядишь, вчерне над Тиссой
пока кропают договор,
а он уж вызнал, сколько тысяч,
когда и кто, и на кого...
В нём вверх направлен коллиматор;
и каждый квант, и каждый атом,
на нас спадающий с высот,
ему свет знания несёт...

...Постой! Торжественная сцена:
Кандыбина явилась смена.
Как караулы на плацу,
ключи вручает жрец жрецу.
Молитва краткая пропета.
Поцеловались два профета.
Сменившийся развёл пары,
исчез до утренней поры...

Кандыбин сменщик, Ванька Хлястик,
наш с нами сверстник —
тоже классик.
Ты не гляди, что телом хил:
он весь в полете, весь Ахилл.

Не зря стоит он на подвахте —
незаменим он на подхвате,
при быстроте его ума
ему преград нигде нема:
едва идея где родится —
он тут как тут. Чего стыдиться?!
Услышал, ухватил, усёк —
и застолбил. И вновь бросок
вперёд —

и только пыль столбом.
А ты стоишь, сверкая лбом...

(Ведь в нас — задел; наш ум как плуг;
мы ищем свет, как тащим тачку;
с носка мы ставим на каблук,
нам нужно время на раскачку;
мы не годимся брать в карьер,
мы не родимся для карьер —
свободы нету в нас духовной!..)

Таков второй наш жрец верховный.

А чтоб причувствовать измену,
прищучивать её разгул,
Двиною правит
особый,

в третью смену
штатский,
глаВАВгур, —
ценитель слухачей радарных,
искусный чтец телепатем,
стык точных и гуманитарных,
спец и по этим, и по тем —
Корнил Аврылов,
князь мордвинов,
земной наместник князя тьмы,
гибрид СС-овца Берлина
с КПСС-овцем Потьмы.

Он начал службу при Лаврентьи.
Держал Мордовию в аренде,

на каторжанах план давал,
сажал в ШИЗО и мордовал, —
как вдруг патрона порешили
(в ковре, по слухам, придушили).
Но он за шефом не спешит,
теперь в Двине дела вершит.

Все ночью спят, а он не дремлет,
пять лет не спит (а может, семь лет).
Сидит, сердит, в сто глаз глядит,
побдит-побдит — указ родит:
"Кто поподлей, тому подлей,
подбавь побольше благ.
Кто удалой, того — долой,
тот виртуальный враг!"

ТАКИЕ ПРИКАЗЫ ВЫНУЖДЕН ИЗДАВАТЬ
КОРНИЛ. И Я ЕГО ПОНИМАЮ,
ОН, ВИДНО, ДУМАЕТ:

...Ты честен,
то есть,
ты смог сберечь и стыд и совесть?
В такое время? В наши дни,
когда излишество они?
Когда давно на ихнем месте
концепция с...портивной чести:
на нас на всех — один генсек
и совесть общая на всех,
и сколько каждому придётся,
такую пусть и обойдётся!
...А раз ты честен — ты с подтекстом!
Ты можешь выступить с протестом,
письмо ты можешь подмахнуть,
престиж нам можешь подмокнуть!..

ВОТ КАКИЕ У НЕГО ОПАСЕНИЯ

...И, зная мнительность Корнила,
я, например, себя блюду
и не расходую чернила

на апелляцияй ерунду.
Синявские и Даниэли
мне, как и всем, поднадоели.
Их жаль, но жаль и наших жён:
что лезть без толку на рожон...
Я

интенсивной жизнью тайной,
всласть ненавидя и любя,
живу

(но только про себя,
ввиду опасности летальной):
засев у радиокоробки,
её включаю на коротких
и, попережку с Дебюсси,
ловлю на русском ВВС;
смакую тайно "В круге первом" —
он так детально бьёт по нервам;
волнует и "Крутой маршрут" —
ведь нас в такой уж не пошлют?..
А сколько раз я со сберкнижки
снял выросшие излишки
на тех, кто гибнет за народ,
на старцев их

и их сирот..
Библиотечка Самиздата,
разнообразна и богата,
есть у меня; растёт она;
расту с ней я. И жизнь — полна!
А если вдруг

падёт мой друг,
и нету сил,
и всё бы к чёрту —
пишу стихи,
где мыслю чётко...
И в стол кладу...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НАШ СТОХАСТИЧЕСКИЙ
ВОЛЧОК ПОДКАТИЛ К КОНЮШНЕ,
КОТОРАЯ, КАК ЭТО СЕЙЧАС ПРИНЯТО,
РАСПОЛОЖЕНА В САМОМ ЦЕНТРЕ ХРАМА

А в конюшне нету сена.
А в конюшне голы стены.
Где-то тишь, покой, жрецы, —
а в конюшне жеребцы.
А в конюшне речи грубы.
А в конюшне с кофе кубы.
А в конюшне дыма клубы.
А в конюшне кофе-клуб.
Мат на мате, вместо сена,
и на стенах математь.
И удобно звёзды с неба
авторучкою снимать.
А в конюшне, в светлом холле,
жеребцы резвятся в холе,
развевая гривами,
увлекаясь Гринами

(Грин — не тот, чья Ассоль,
не чужак из Крыма —
упиваются красой
функции Грина)...

Ой, гарцуют кони храбро,
ищут смысл константы Хаббла,
газ дают по рытвинам,
обобщают Фридмана.
Из особого решенья
извлекают —
тык да мык —
миг грядущего крушенья,
новой жизни первый миг.

...Мысли бьют из-под копыт,
мысль отвагою кипит,
мысль, как гейзер, бьёт фонтаном
в извержении спонтанном,
мысль кипит, как рислинг,
мысль на ворот виснет,
мысль наветки подаёт,
вызывает мысли...

...Буланые, соловые —
с утра они взволнованы
СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ОЖИДАЮТСЯ.

ГОВОРЯТ, ЧТО... ВПРОЧЕМ, ВОТ СТИХИ
НА ЭТОТ СЧЁТ:

Неоткровенные, как слуги,
по храму тихо бродят слухи.

Как телефоны, низковольтны,
звучат тихонько разговоры.

В зубах беззвучно вязнут речи,
глухие, строгие, как френчи.

Как солнышко, с утра пораньше
скрипят колёса и парашаи.

Раздумчивые, как равнины,
догадок множатся лавины.

Едучие, как капли яду,
язвят научную плеяду.

Грозит, по слухам, той плеяде
принять мер, мероприятия.

И что, когда все меры примут,
наступит ледниковый климат:

пересекретят...

запретят...

загородят и запрудят...

возьмут в лубки...

поставят в стопор...

закатят в Северовостополь...

...Скользят по храму злые слухи,
общенародные, как шлюхи...

МЫ ЕЩЁ БУДЕМ ИМЕТЬ СЛУЧАЙ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО ВСЁ ЭТО НЕПРАВДА. А ПОКА —
ПРОЙДЁМ В КРАСНЫЙ УГОЛОК

Бросок вперёд. Ещё бросок.
И мы стоим меж двух досок.

Доска почёта. Гроздья. Звёзды.

Портрет,

процент,

отдел,

комсорг.

Окно сатиры. Толстый гвоздик.

Верёвка. Банного кусок.
Фамилия наискосок.

Ворота в рай — дорога к пеклу.
Спираль подъёма — плоскость в петлю.
Стезя свершений — путь Голгоф.
Приятность долга — жуть долгов.
На красном стенде длинный список
резцом любовным скульптор высек.
На чёрном буковки вразброд —
одно лишь имя —

И.ВАЙСБРОТ...

КТО ТАКОЙ ЭТОТ И.ВАЙСБРОТ,
СТАНЕТ ЯСНО ВПОСЛЕДСТВИИ

Как два полярных электрода,
как x и p у электрона,
как кнут и пряник,
меч и крест,
как плоский пляж и Эверест,
как плотский жар и дух познания,
как чистота и наше знамя, —
так дополняют две доски
друг друга, нас зажав в тиски.
А поперёк антидосок
фанеры на стене кусок,
на нём афишка не афишка,
а то ли складень, то ли книжка.

ДАЁТСЯ ПЯТЬ ПОПЫТОК УГАДАТЬ,
ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Нет, не призывы, не плакаты
трубят на нём свои стаккаты.
И не маразм передовых,
рождённых в корчах родовых.
Не хунвейбины, Люя прокляв,
там свой малюют иероглиф.
И не народная молва
выводит краткие слова.

И не туземные поэты
сюда суют свои сонеты.

И не ценнейшие советы
им здесь дают искусствоведы:
они не здесь их укорят
за неуместный звукоряд.

Нет, всё не то! Всё много проще:
назавтра слёт в священной роще,
симпозиум, обзор трудов
последних четырёх годов.
Он посвящён важнейшей теме:
"Об управляющей системе".

Программа на стене висит,
презренной прозою гласит
следующее:

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКЛАДОВ

1. Неопределённость момента экономического эксперимента.
2. Вырождение высших уровней, когда дана страна и диктатура в ней.
3. Уменьшение степеней свободы (экстраполяция на ближайшие годы).
4. Теория ошибок судопроизводства (1937—1967; различие и сходство).
5. Мнимые добавки к наинизшей ставке, реальный вклад в высший оклад.
6. Бесконечно малые сдвиги величиной от нуля до фиги.
7. Теория разрыва слабейшего звена (на примере закупок заморского зерна).
8. Налог на обрезание (исправлено: на образование) и его экономическое обоснование.
9. Спонтанный распад системы, заключённой в железные стены.
10. Силовая функция аппарата при наличии утопанного плац-парада.
11. Коллективные возбуждения как средство убеждения.
12. Увеличение сечения как средство обучения.
13. Тормозные политические процессы и дальнейшие критические эксцессы.

14. Удвоение частоты процессов под влиянием названных эксцессов.
15. Многократное рассеяние демонстраций и толп и какой от этого может быть толк.
16. Коллективное возмущение методом перемещения.
17. Поляризация общественного мнения под влиянием внутреннего трения.
18. Преломление в умах самиздатовских бумаг.
19. Гигантский резонанс Сахарова, посеявшего по невспаханному.

Докладов, видите, навалом.
Жаль, что под тайным покрывалом:
ужасная секретность тем,
строжайшая густая тень.
И ни за что до самой смерти
вы даже поминать не смейте,
что этот список вам знаком
и что, за чтением крамольной
поэмы,

как-то раз неволью
вы кинули в него глазком.
Корнил услышит, брови ссупит,
поэму в магазине скупит,
изучит нужные места —
и вдруг лишит меня поста.
Увидит он, что я оставил
распределения по М,
что я взамен себя ославил
изготовлением поэм —
и сделает законный вывод:
лишит поэта льгот и выгод.

..И вообще, друзья мои,
кто прочитает эту книжку,
совет вам: не болтайте лишку.
Поглубже, милый, затаи
стихов охальных полукипу —
чтобы ни стуку и ни скрипу.
Боюсь я: в них узрят крамолу,
и по доносу по прямому

подвешат вас,
 распнут,
 прибьют —
поди уверь, что не верблюд,
что ты не знал — тебе всучили,
что ты попался без причины,
что...
Эй, куда же ты, постой,
не расходись, народ честной!
Зачем так нервно и так чутко?
Я пошутил... все это шутка...
шучу я, право... вот народ...
вернись...
Фу! Продолжим наш обход!

ЧТОБЫ ЗАГЛАДИТЬ НЕЛОВКОСТЬ, Я
ВВОЖУ В ПОЭМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО

...В шипах, как кактус, круглый корпус, —
всё дальше катится наш компас.
Так, скок-поскок, с шипа на шип —
и чуть знакомого не сшиб.
...Писал бы я псалмы и хоры —
мне тот знакомый был бы впору,
как благодравия сосуд,
из коего мораль сосут.
Судите сами.
Дядя Гриша.
Мудрец. Старик. Годков с полста!
Чин? — Чина нет. Бери-ка выше:
он выше всякого поста.
Ему для творческого счастья
не нужно почестей и власти,
урочных высших степеней
и прочих пышных ахиней.
Он счастлив, если вдруг представил
себе

 влияние кристаллов
на запрещённый К-захват,
и все загадки гиперъядер
ему как гадкий неприятель,

с которым весел газават.
Он рад донельзя, с места стронув
вопрос о тождестве нейтронов
и связь его сумев постичь
с интерференцией частиц.
Он ходит мудрый, вдохновенный,
накоротке со всей вселенной —
её поверенным в делах
(пускай простит его Аллах).
"Природа — заводная тётка, —
друзьям рассказывает он, —
в ней всё продумано и чётко:
закон — так уж для всех закон,
закон без скидок и поблажек;
её политик не подмажет;
будь ты хоть пешка, хоть зампред —
не обойти её запрет.
Но в ней не как у нас — не зона:
представьте довод ей резонный,
найдите незабитый лаз —
и новый мир открыт для вас.
С ней можно толковать на равных:
без звона, без речей парадных, —
и из беседы деловой
порядок встанет мировой,
умей вопросы лишь поставить!
Вселенная — она проста ведь!
Порядок строг у ней на дне...
А что сумбур — так он извне..."

Он не болтлив, новейший Кеплер.
Секретов он её не треплет.
И, как природе, не нужны
ему ни слава, ни штаны.

НЕ ПРАВДА ЛИ, ПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
КАК ЖАЛЬ, ЧТО Я НЕ ЗАПОЛНИЛ ТАКИМИ
ЛЮДЬМИ ВСЮ ПОЭМУ!

Как жаль, что этот образ постный
претит моей сатире злостной!

Ах, если б я писал псалтырь!

Но нет, нельзя!

Ведь я сатир,

обман и зло — мои герои...

...А как уж хочется порою,

устав от боя, дать отбой,

наляпать краски голубой,

писать стихи про бровь соболю,

довольным быть самим собою...

Ведь мне

подобный сочинитель,

сатирик,

злбный очернитель,

что строит храмы из говна,

несимпатичен издавна.

Мне вообще мерзка сатира,

меня с неё всегда мучило.

Вы скажете, что это свист,

но я в душе идеалист.

Я прост умом, я прост душою.

(...в кино сижу лапша лапшою:

где скажут шутку — там смеюсь,

где страшно жутко — там боюсь,

люблю, чтоб был порок наказан,

изобличён, к столбу привязан,

потом, раскаявшись, прощён,

к благому делу приобщён...)

Вы согласитесь, что подобным

субъектам смирным и беззлбным

тот Ювеналов тяжкий бич

не по плечу,

что это дичь,

что нужен здесь боец природный —

чтоб в сердце страсть,

а ум холодный,

чтоб жизнью ломан,

смертью гнут —

ему бы (в руки) этот кнут!

Увы! Такого Ювенала

земля давненько не видала.

Где страшный свист его хлыста?

Пуста вакансия, пуста!
..На нашу нравственную калечь,
на всю страну — лишь Ким да Галич!
Лишь два шута на всём пиру!
Лишь два юродивых в миру!
..Есть чистых юношей ватаги,
девчонки, полные отваги.
Есть знаменосцы — нет шутов.
Есть пастухи — а нет хлыстов.
Святое место пусто, пусто!..

..Нет, вы моё поймите чувство,
как ждал я, ждал..
И перестал,
и сам полез на пьедестал,
и посвятил себя сатире.
Пишу.
Пока не посадили.
Как все, с утра и до шести,
а позже — Господи прости!
Пишу я с подковыркой вирши.
Сперва не мог,
теперь — привыкши.
Теперь бы мог и на заказ,
чтоб здесь — намёк,
а здесь — сарказм,
а в этом месте — дрожь по телу!
Хотите? На любую тему:
про негров..
про политпросвет..
про гром побед..
в один присед!
Идёт?..

НО ТОЛЬКО Я НАСТРОИЛСЯ, У У У —
ЗАВЫЛА СИРЕНА, У У У — УНЫЛО, СВИРЕПО.
ПОШЛО ДВИЖЕНИЕ ПО НАШЕЙ ТОЛПЕ.
ЧИТАТЕЛЬ ПОДУМАЛ: ТРЕВОГА, ЧП. И ЗРЯ:
НЕ ТРЕВОГА, А ПРОСТО СОБРАНИЕ..
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТАКОЕ РАННЕЕ?

Гляди, народ-то как нахлынул, —
как кто из бочки пробку вынул —
как их вмещает коридор?
Идут, как волны, чередой...
Идут понурые Панурги,
идут придворные придурки,
путей к величью первотворы,
из липы лычек перводёры;
прервав засаду на частицы,
идут с совета нечестивцы,
идёт и просто мелка сошка:
из космотроники комсоржка,
из гаража Автомедоны,
из АТС телемадонны,
первоотдельская суккуба,
собой секретная сугубо,
и с ей, как спирохета бледный,
супруг еённый сверхсекретный...
Похожи, как из-под копирки,
идут девчонки-сексапилки,
а вслед — студенческая бурса,
младенцы выпускного курса,
юнцы — в душе амикошоны,
идей безумных акушёры,
и старикашки — бес в ребре,
чтецы Вийона и Рабле,
и толмачи талмудов толстых,
и оппонент, оплывший в тостах,
остывший грязевой вулкан,
науки бывший великан.

Идут по бомбам грамотеи,
громилы из угрюм-артели —
артель конструкторов смертей,
идейных роботов артель
(изобретённый соцроманом
сплав партбилета с сопроматом
считает, дышит, говорит,
ракеты запросто творит).

Идут невежды-инженеры.

Придётся нам обход кончать,
поэму на полслове бросить.
Сверну я только к алтарю,
о чём собрание посмотрю...

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЭТО ВСЕГО-НАВСЕГО
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПОЛИТБЕСЕДА. ВЫСТУПАЕТ
ЧИНОВНИК ИЗ ПОЛИТОТДЕЛА

Он говорит, что час тревожен.
Что самый раз начать brainwashing,
что пресловутый И.Вайсброт
своей игрой смутил народ.
Своею явкой с повинной,
своим преступным дневником —

который кой-кому знаком! —

он возмутил наш дух былинный,
как в Праге Палах,
в Риге Рипс,
как на Крещатике Макуха...

Но, веря в склад родного духа,
политотдел пошёл на риск:
в набат не бьёт,

войска не вводит,
в спецпсихлечебницы не содит,
а просто дан на первый раз
профилактический приказ:
закинуть глубже политсети,
просвет убрать в политпросвете...

ПОЛИТЧАС

Вот мегафон политзарявкал —
и началась политзарядка.

Шнуруют нас в политкорсаж.
Шуруют нам политмассаж.

Свистят клинки политабреков,
летят клочки с политогрехов.

Возводят на политкостёр,
тех, кто умом политвостёр.

Включив политаппаратуру,
на нас наводят политиру.

Проводят в нас политпроцесс,
чуток отбросив политес.

Огнём горит политпалитра,
Гортань палит политполлитра.

Политзвучат календари.
Волхвы несут политдары.

Перёд Двины перед сынами
поднялся вал политцунами.

Политсамум в глаза пылит.
Полит-Сухум лицо палит.

Полит обильным политпотом
царит доверья политвотум...

И тут пропел политпетух,
потух порыв политпотуг,
протёк успешно политчас,
как будто в пять минут промчась.

Идёт народ аллюром скорым,
за взводом взвод —
на людный форум
встречать высокого гостя,
полдня рабочего скостя.
Приходится и нам поэму
кончать, внезапно скомкав тему.

ВОТ ЩЕЛЬ ПОСЛЕДНЯЯ ЗАБИТА
.....
ВЫХОДЯТ ГЛАВЖРЕЦЫ И СВИТА
.....
СДАЮТ КОРНИЛУ ПАСПОРТА
.....
ЛЯЗГ. ДВЕРЬ В НАУКУ ЗАПЕРТА!
.....

Ну, а у нас — вдвойне вопросы:
— Как? Что?

И здесь, в Двине, Вайсброты?
— И здесь они мутят народ?
— Чего же хочет ВАШ Вайсброт,
опять для личных щей навара?
— Или он местный Че Гевара,
чьё дело — смута, бунт, война?
— Какая, в чём его вина?
— Прочёл я верно между строчек,
что это — Дымшиц-самолётчик?
— Нет, он агрессор, ждущий часа,
чтобы на пушечное мясо
себя в Израиль отвезти!
— А я ужаснейшие вещи
про них читал в подпольном "Вече"!
— Так в чём вина его, прости?..

— Вина его совсем простая:
душа его, прозрев, восстала —
но это малая вина;
восстав, толкнула на поступки,
которые почти преступны, —
так это средняя вина;

но заявить об этом громко,
переступить обета кромку,
чтоб стала всем вокруг видна
его души освобождённость,
его деяний убеждённость, —
вот это главная вина!
Большая, страшная провинность:
он дерзко согрешил навынос, —
хотя, вступая в институт,
он знал неписанный статут —
греша, не привлекай вниманья!
Замыслишь кукиш — дай в кармане!
Не превращайся в дикаря:
переступай — но втихаря!
Блуди тайком,
масонствуй в маске.
Соблазн, переданный огласке,
соблазны новые родит
и пуще тайного вредит...

А он,
допущенный постричься
в жрецы,
забыл про этот принцип...
— Да не забыл, а преступил —
они ведь не из простофиль...

— О да, бесспорно, я согласен,
Вайсброт преступен,
он опасен,
и я вам дам его дневник,
чтоб каждый в дело это вник
и сделал лично
должный вывод...

Ну, а сейчас — пора на выход.
Кончать, друзья, пора кончать,
чего нам в храме зря торчать...

...Кончаю я свою поэму.
Она — как тяжкое полено.

То так, то эдак подхвачу —
никак к огню не подкачу.

Не разберу, где суть, где формы, —
переплелись сучья, корни.
Где луб, где камбий, где кора —
не различаю ни хера.

Извожен весь, устал ужасно,
а разгорится ли — неясно.

Но я и думать не хочу,
что, может, зря его качу,
что вряд ли им кого согрею,
что надымит оно скорее,
и что,

как пить дать,

влепят мне

поленом этим по спине.

За наглый трёп,

за слабый трепет,

за гнусный лепет густо влепят.

Ну что ж!

Зато и я влеплю

за всех за тех, кого люблю:

в ком сердце с детства онемело

в безлюдьи лжи, в глуши клевет —

и наудачу, неумело

выходит исподволь на свет.

Ещё за тех, кто вышел к свету,

увидел зло, а силы нету:

в мыслях — пророк и еретик,

а грань не может перейти...

За тех, кто встал уже за гранью

над нашей трусостью и дрянью,

кто, за права свои восстав,

лишён работы, чести, прав,

и, зубы сжав, дерётся молча, —

кого державы хватка волчья

объявит не в своем уме,

задавит в ссылке и тюрьме!

а мне раздумывать, томиться?

.....

Держи-ка, милый, хвост дугой!

Тащи, авгур, бревно в огонь!

О С Ь У. ПОЛЁТ В НЕВЕСОМОСТЬ ИЛИ ДНЕВНИК ИЗИ ВАЙСБРОТА

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Ох, что за рыцари
у нас в милиции!

Ох, не люди там, а хлеб с повидлою,
не зря привёл я сам себя с повинною,
сложил дежурному на стол я голову,
сказал, по жуткому какому поводу,
сказал, что встретите во мне изменника,
что мой достойный вид — одна косметика,
что я наш мирный труд лишил оружия,
закон лояльности собой нарушил я.
Сперва не поняли, что нелояльного,
но я своё опять твердил наянливо:
что в здравом разуме

да в чистой совести
сорвал открытие я невесомости.

И вот мальчишечка в тюремной
камере,

грустит мальчишечка глазами
карими,

что не свободен он, а на
казарменном,

что ждёт не ордена, а наказания.

А плохо в камере. Там нары
твёрдые.

Нужду, и ту велят справлять над вёдрами.

А в нём привычки нет, а он
смущёненький:

— Ах, где ж ты, личный мой,
да совмещёненький?

А плохо в камере. Еда неладная.

Что за питание — одной баландою.

А в нём привычки нет, сосёт
под ложечкой:

— Ах, где ж вы, сочные битки
с окрошечкой?

А скучно в камере. Считать в ней
нечего.

Резина тянется
с утра до вечера.

А в нём привычки нет,
болтаться нету сил:

— Ах, где ж вы, "Письма в ЖЭТФ"
да Physics Letters'ы?

— Ох ты, советничек, майор юстиции,
с друзьями верными
хочу проститься я,

с подружкой милою,
со старой мамеле,

мне одиноко здесь,
в тюремной камере.

— Твои любимые друзья-приятели
своё доверие к тебе утратили
и на собрании вчера в полтретьего
разоблачение с подъёмом встретили.
Твоя подруженька с работы

изгнана
за то, что с партией была
неискренна,

за то, что связана и что не
кается.

Ей ваши нежности теперь икаются.
И не придёт к тебе

мамуля родная,
её не выпустит земля холодная:
стыдом убитая, лежит безвестная
на русском кладбище, где
пьяным весело.

— Ах, отпусти меня, майор-законничек,
я на могилке той прибью хоть
колышек,

прибью хоть колышек с фанеркой
малою

над мейне либиньке,
над милой мамою!

— Ах, не могу никак, мой друг
 подследственный,
ты исполнитель был, да
 непосредственный.
Уж не плетёшь ли ты
 другие замыслы,
уж не хитёр ли ты,
 не водишь за нос ли?
— Ах, дай, начальник, взглянуть
 к окошечку
на Алю-Алечку, на белу кошечку.
Она под дождичком стоит
 за стёклами,
заябли губоньки, а были тёплыми.
— Вот не могу тебя пустить к
 окошечку,
покуда следствие ещё не
 кончено:
махнёшь ты ручкою сквозь
 ограждения,
пойдёшь на волюшку
 предупреждения.
— Пусти, начальник, хоть к
 аппарату,
я позвоню
 своим друзьям-приятелям,
да что смутило их, да чем обижены,
что были давними, а стали бывшими?
— Твои приятели — кто в срочном
 отпуске,
кто ставит опыты, кто
 правит оттиски.
Им славно трудится,
 им сладко пишется,
звонок сомнительный
 им не услышится!
— Тогда, начальник,
 давай допрашивай,
статьями разными
 вину раскрашивай,

чтоб не задуматься
 суду советскому
дать мне законные
 семь лет с довесками.

НАЧАЛО ДНЕВНИКА. ПИСЬМО МАМЕ

Здравствуй, город Знаменка,
здравствуй, мама-маменька!
Кланяется низенько
твой сыночек Изенька!

Пишу покамест наскоро,
сiju впервые в келии,
смеётся солнце ласково,
сияют кафли белые.

А под окном с фрамугою
мой стол, покрытый ватманом.
На нём тома премудрые —
Уиттекер с Ватсоном.

И счастлив я невиданно:
житьё, как сон, картинное!
К тому ж авансу выдано
мне 37 с полтиною.

А сколько я мотался
по разным господам!
Какие мытарства
я не испытал!

С приёмной в приёмную,
с казённой в районную,
в храмсовет, в гороно —
ты, говорят, не коренной.
Вы, говорят, пятая
(графа? колонна?).
Вы, говорят, запятнаны,
вас, говорят, калёной...

По расовому признаку
отбрасывали Изеньку,
но тут — удача Изина —
решил задачу Изинга.

(Её решала физика
40 лет подряд.

Её решил твой Изенька —
и верно, говорят).
Пришлось тут гаду Борову
писать плакат по городу:

”Хотя сей вражий недоросль
(это я)

нам и внушает ненависть
(писал он, не тая),

но впредь до истечения...
но в виде испытания...
в порядке исключения
для перевоспитания...
без орденов и перлов...
без формы номер первый...
без допуска до таинства...
с ливреей в форме талеса...
ввиду научной хитрости...
для пущей колоритности...
сей ненадёжный недоросль
включён в платёжную ведомость”.

Нежданно и негаданно,
едва не сживши со свету.
Зарплата небогатая,
но что мне надо, собственно:
я молодой, здоровый,
обедаю в столовой,
бельё стираю в ванной
и сам чиню, что рваное.

А храм здесь не заплёванный,
чистенький, ухоженный,
даром что за проволокой
колючей расположенный,
даром что не равенство —
избёнки разномастные,
даром что не нравятся
девчонки арзамасские...

ДУШУ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ!

...Души прекрасные порывы!

А.С.Пушкин

В храме многотемье.
Выбирай на вкус.
Выбрал тяготенье.
Тягошусь.

...Сладить аппараты,
просидеть весь век,
во втором порядке
наблюдсти эффект?..

Повторять пропетое:
сотворять перпетуум?
Или слать контейнер
в космос на года?..
С этим тяготеньем —
тягота!

С горя я, поскольку
тягошусь,
высказал прискорбно
ряд кошунств:
из романа двинул
антиграв, —
но в ответ прикинул
интеграл...

для увеселенья
выдал от души
гравиусиление..
и тоже придушил...

Мутно в темноте мне.
Темень чувств.
Трудно тяготенье.
Тягошусь...

ЗАГАДКА

Её я встречаю вторую неделю.
Уже не смущаюсь. При встрече не рдею.
Ну что за привычка — краснеть до ушей!

Я кто ей такой? — Хвост кобыле пришей!

Она и не видит. Чуть зыркнет — и дальше.

И имя её мне неведомо даже.

И тесная стенка друзей и подруг,
видать, заслоняет ей всё, что вокруг.

Но боже — какая очерченность линии!

Как брызжут в полёте глаза её синие!

Всей кожей светясь,

изнутри зажжена,

бесшумно проносится мимо она...

Китайский фонарик во тьме коридора.
Таинственный призрак.

Сюжет Конан-Дойля.

Разгадку загадке ищу, как Шерлок.

Снегурка?

Туристочка?

Синий чулок?

Богиня в бикини?

Пострел-Перикола?

Откуда свечение в ней Черенкова?

Удары в груди, как коня, осадив,
на следствие вышел авгур-детектив.

ЛЮБЛЮ ФИЛОСОФСТВОВАТЬ О ВРЕМЕНИ

Неправда, что время не квантуется.

Время от времени бывает время,

когда времени не бывает

(см. Антидюринг).

Особенно это заметно,

если оглянуться.

Между редкими мгновениями, когда
что-то было, зияют внушительные пустоты.

Это когда ничего не было.

Человек спал.

Или отбывал действительную.

Или делал то, к чему привык.

Или, предвкушая завтрашнее интересное,
пропустил всё сегодня.

Или прожил жизнь.

ПРОИСШЕСТВИЕ

У доктора доктор — здесь все доктора —
супругу обманом свёл со двора.

Лишил он доктора сына.

Пришиб он доктора сильно.

Была приятна собой жена,
богато, с излишествами, сложена.
И доктор привёл мне, расстроясь,
обилие прочих достоинств,
и выражался язычески
доктор наук физических.

И очень по сыну доктор скучал,
и ночью настырно к сыну стучал.
Пугал он соседок с вёдрами,
ругаясь словами бодрыми,
топтался в подъезде до ночи,
о боли своей долдонючи,
признанья пускал постыдные
про горе, его постигшее.

И доктор допьяна водку пил.
И доктор доктору морду бил.
Знаток постулатов Вайтмана,
толок он руками ватными
по мягким румяным щёчкам
творца черенковского счётчика.

А после горько махнул рукой
и понял подлость судьбы людской,
и, бросив П—е-рассеянье,
ушёл он в ночи осенние.

Он сник, он скис, покатился вниз.
Теперь он атомный замминистр.

РАЗГАДКА

Аля-Аля-Алечка.
Тоненькая тальичка.
Одета в платье белое.
От деда с бабкой беглая.

Из детдома ушла.
От знакомого ушла.
В институт забрела,
семь инстанций обвела,
семерых волков
обошла вокол,
семерых клепальщиков,
Корниловых приказчиков.
Сидела за баранкою.
Стала лаборанткою.
Полдня по храму крутится,
полдня в три пота трудится.
Три привода в органы.
Взыскание за оргии.
Ночует, где захочется.
Третий курс заочница.
На язык не робкая.
Ко всякой бочке пробкою.
На всех собраниях выскочка.
Алёна-программисточка.

ПРОДОЛЖАЮ ФИЛОСОФСТВОВАТЬ

Неправда, что время не квантуется.
Люди любят целые числа.
Круглые даты.
Их радует, когда их первенцу ровно семь месяцев.
Они празднуют его семилетие.
Своё пятнадцатилетие он отмечает сам.
Вскоре начинается счёт на десятки.
По случаю своего пятидесятилетия человек зовёт гостей.
Гости, думает он, обрадуются,
что к пятидесяти годам
хозяин ещё не умер.
Но гости немедля забывают, зачем они пришли,
и пьют водку, удивляясь, зачем они пришли,
и делятся свежими ответами армянского радио...
Некоторым же людям везёт.
Тот факт, что их возраст можно сегодня
разделить на десять, не рискуя
получить остаток, — этот факт отмечает весь народ.

То есть, человек двадцать-тридцать.
 И так с ними бывает до самой смерти.
 После чего справлять их юбилеи перестают.
 И никого не трогает тот факт, что,
 останься человек в живых, его возраст
 можно было бы разделить без остатка
 не то что на десять, но даже на сто.
 ...А кое-кому везёт ещё больше.
 Неожиданно для него люди внезапно вспоминают,
 что,
 не умри он 168 лет тому назад,
 ему нынче исполнилось бы 250 лет.
 К нему сошлось бы много гостей.
 Пришлось бы раздвигать стол и просить у соседей табуретки.
 За столом бы пили и отвечали на вопросы армянского радио.
 И было б так весело, что хозяин попросил бы:
 "Подымите мне веки!"
 — Пожалуйста!..

НАЧИТАЛСЯ ПЕРИОДИКИ

Народ наш великан,
 на всякое мастак.
 Он строит на века,
 таков его масштаб.
 Таков его порыв,
 такая уж рука.
 От Кеми до Курил
 он строит на века.
 Он знает цель одну:
 создать из сказки быть.
 Степную целину
 он превращает в пыль.
 Готов сковать в бетон
 степной дороги ширь.
 Готов свести китов
 на мыло и на "Шипр".

Продуман и весом
 свершений наших стиль:
 пустыни из лесов,
 болота из пустынь.
 У нас такая цель,
 такой императив:
 склепать из речек цепь
 каналов и плотин.
 И, землю оголив,
 устроить счастье масс:
 сварганить из Земли
 в сплошных каналах Марс.
 У нас такой порыв,
 у нас такой накал:
 о будущем забыв,
 мы строим на века!

КАЖЕТСЯ, ИДЕЯ!

Учебники солидные
бесспорно говорят,
что гравитусилители —
бесплодный вариант,
что зло — в константе γ ,
что в ней — к проблеме нить,
что встань хоть вверх ногами —
её не изменить.

Но третью неделю
я в мыслях, как в шелку:
толку одну идею,
со всех сторон толку.
Есть волны гравитации.
Есть аддитивность волн.
А что как попытаться мне?..

Я рыскаю, как волк.
Я, как корабль, рыскаю,
меняю резко курс,
гляжу на волны пристально,
бессмысленно толкусь:
ведь есть интерференция,
есть вычитанье волн,
могу ли опереться я?..

Брожу опять, как волк,
зайду в тайгу дремучую,
вынюхиваю, мучаюсь:
вот-вот,
вот-вот...

ВТЯНУЛО В РАБОТУ

Наука — ей нужен душевный покой.
И я создавать научился такой.
Читая, творя, заседая, —
покоен и ясен всегда я.

Встречаю разумно событий поток,
как то подобает учёным.
Все доводы взвешу и только потом
признаю я чёрное — чёрным.

Я верю в науку, я верю в прогресс,
что поступь его неуклонна,
так что мне мешает брать матрицу S,
структуру искать у нуклона?

И если я чувствую кванты нутром,
и если влезаю я в антинейтрон —
плевать мне, словаки ли, венгры ли
свою демократию свергнули.

Правдивый роман запретят на Руси
герои его раздражённые,
а я поудобней усядусь — и ψ
помножу на ψ сопряжённое.

Аж челюсти сводит, навяз до оском
вкус лжи и притворства, и подлости.
Но только не мне. Я застыл над листком
с эрмитовой матрицей плотности.

Науке ведь нужен душевный покой.
На кой ей волнения,
сомнения на кой?

Покоен и ясен всегда я.
Читая. Творя. Заседаю.

(Эти стихи ходили по рукам,
и я их переписал).

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ

Март месяц начался с бунтов.
Бунт был российский — на коленях,
был верноподанным, келейным,
но всё же нарушал бонтон.

Недопустим был всякий бунт.
Любой не-в-такт являлся бунтом:
любое празднество по будням,
любой двузначный атрибут,
любая смена падежа
в формулировке — зрела бунтом,
любой союз являлся Бундом,
разоблаченью подлежа.

Хоть время — смутным не чета —
те ж волны мутные катило,
хоть в общем не происходило
в буквальном смысле ни черта,
но было ясно: зреет взрыв,
но было ясно: что-то будет,
что время разрешится в бунте,
сиреной над вселенной взыв...

...Всё началось-то с ерунды.
Был суд. Судили двух людишек,
в глухом подполье породивших
свои двузначные труды.

В трудах торжествовал порок,
и, у безумья на пределе,
вставала ночью добродетель
и выла, выйдя на порог.

Был суд как суд. Он вникнул в суть
и дал срока, и кончил дело.
Рука дающих не скудела,
раз заслужил — не обессудь.

Но здесь, орудье тёмных сил,
народ, как в храме на моление,
пал перед властью на колени
и за виновных попросил.

Он попросил, он пренебрёг
всей логикой судебных формул.
Он вышел в будний день на форум
и вёл там вольный перебрёх.

Он пал на камни площадей
и, ложной жалостью палимый,
у власти попросил: "Помилуй!
Не трогай этих, пощади!"

Был свист,
был сверк,
был стук подков.
И, нагло жавшая на жалость,
смутьянов кучка разбежалась,
тем самым прекратив подкоп,
но бунта кран не прикрутив:
когда участников молебна
своею критикой целебной
призвал к ответу коллектив,
то, в продолжение мятежа,
начётчики и фарисеи
не повинились мать-Расее,
разоблаченью подлежа.
Их крепко взгрели: брили лбы,
с работы гнали их в три шеи,
в Тюмень их слали рыть траншеи,
сажали в Белые Столбы.
Сперва, признаюсь, был жесток
и я. Сказали: "Голосуйте!" —
а что мы знали? Мы — не судьи;
авгур — он знает свой шесток.
Но тем странней был Алин жест:
она голосовала против,
единодушие подпортив,
покинув свой законный шест.
И, в пику трусости светил, —
девчонка, мелочь, программистка, —
она не замечала риска,
который руки им сводил.
И я протёр свои глаза.
И, вызывая смех и ругань,
я вслед за нею поднял руку, —
ту, что была недавно "за"...
...И наподдали ж нам под низ!
Выговора по комсомольской,
бычки на удочке заморской,
а мне, особо, — сионизм.
Ух, как бесились холуи!
Как разевались пасти рыбы!

А мы не трудимся — кантуем.
Поля не пашем, а квантуем.
А мы живём не жня, не сея.
Житьё — не жизнь, а разлюли,
евреи матери Расеи,
ессеи матери Земли.
Живём, не сломлены нисколько.
Поём — да вам не в унисон.
И ваш порядок, как Николку,
ещё мы в клочья разнесём.
Смиренью нашему не верьте.
Готовьте тюрьмы и горлит:
душа живая в нас бурлит,
ребром мы вздыбим ваши тверди.
Не верьте нам! Смиренье — маска,
она надета неспроста:
ещё дадим мы нищим Маркса,
а людям — нового Христа.
Ещё не раз громить нас будут
отец народов и Адольф,
и дружным хором нас осудят
искусствоведы всех родов.
И вам, как скрытым, так и ярым,
ещё немалый будет труд:
ещё не раз над Бабым Яром
нас всех на пепел изотрут.
Но, оклеветан и изранен,
и стёртый до седьмых колен,
опять воздвигнется Израиль,
опять поднимется с колен.
И вновь пойдёт, сомненья сея,
или затеет прочь исход —
ессеи матери Расеи,
её заквас,
учёный скот.
А может, не спросясь заране, —
се человек, не манекен —
уйдёт он в знание, как в изгнание,
не управляемый никем.
Да, мы семиты на семите,
разгромленные тыщу раз!

А вы подите нас сымите,
уймите нас!
А хрен вам с глаз!!

ФИЛОСОФСТВУЮ О ВРЕМЕНИ

Время вспять не течёт.
Но в сторону сворачивает.
Встретив запруду, оно растекается
вширь.

И замирает, медленно прибывая.
Тогда кажется, что время стало.
Что ничего не происходит.
И никогда не произойдёт.
А всё дело-то в том,
что ось времён

лежит на комплексной плоскости.

Время не останавливается
и испытывает мнимые приращения.
От мнимых приращений
равнение падает,
а энтропия растёт.
И вот

в один прекрасный миг
оно перехлёстывает через насыпь,
воздвигнутую хранителями времени.
Оно переваливает
и устремляется по действительной оси,
унося на своей белогривой шее
мусор и мразь застоя,
старые, давно ненужные дороги
и самих хранителей времени.
Мальчишки бегут рядом с потоком.
Пускают кораблики.
Швыряют камнями в хранителей.
Травка зеленеет.
Солнышко блестит.

СПОРЫ С ЛИРИКАМИ

Кимарите,
киряете,

про бары лажи травите.

А мы ввели киралити —

и оказалось правильно!

Гордитесь Мейерхольдами.

Трезвон стоит над Кафкою.

А я вот вывел формулу —

и ничего, не гавкаю...

Подкрасили,

разбавили,

а в общем — как при Сталине.

А вот у нас Мёссбауэр

ядро зажал кристаллами.

Всё спорите, как исстари,

эфир забив раздорами,

а ведь у вас в транзисторе

кто главный? — Наши доноры!

Над

мысли дряхлой перлами

склонясь, застыли истою.

А мы из Двадцать Первого

прощально машем: "С кисточкой!"

Над жанрами, над стилями

предсмертно бьёте жабрами.

А мы идём Россию,

вооружась Лежандрами,

мы путь России истинный

прокладываем исподволь,

покуда вы, философы,

над Лениным елозите.

Вот вы нам столько каркали,

тесали стойки виселиц,

а мы сидим над кварками,

сидим-сидим — и высидим.

А вы нам в сотый вычурно

о духе, о материи,

а вы нам о первичности, —

а мы вас прочь похерили.

А мы вас прочь отринули

с суконными законами —

мы левыми нейтринами

вселенную заполнили.

Склонитесь же пред фатумом,
бедой нависшей спаяны:
 не электроны с атомом,
 а мы неисчерпаемы...
То мы стоим Антеями,
полны земными токами,
над новыми затеями,
над века заготовками.

ЯВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Не то, чтоб вовсе без натуги,
не без вмешательства фортуны,
но, в общем, ко своим годам
я, наконец-то, угадал,
как быть с обилием культуры.
Я у неё на поводу
одром понурым не бреду.
Брыкаюсь я. Я резв и бодр.
Я — конь, а не предсмертный одр.
Я сам её творю, культурку
(допустим — формулы творю).
Не подобает мне, как турку,
как папуасу-дикарю
из первобытного колхоза,
в порядке общего психоза
подряд глотать её дары,
не отделяя хлеб насущный,
нам насыщение несущий,
от всевозможнейшей муры.
Как вся окрестная Расея,
я не глотаю, не просея.
Я знаю, где мука, где сечка.
Меня воротит от гнилья.
В моём детекторе отсечка
порой доходит до нуля.
В приёмнике моём
 антенки
отменно чувствуют оттенки,
добротны микромодуля.
И искаженной частотою —

хотя бы чуточку не тою —
не наведёшь во мне поля!
О, я в восторге от настройки —
её параметры столь стойки!
О, я в экстазе от антенки,
чья крутизна — как пик Хан-Тенгри...
Я в восхищеньи от несущей,
что хлеб один несёт насущный,
от этой узкой амбразуры,
что мир особый образует,
как Челленджерово плато!..
Я что-то начал не про то...
Вернусь-ка я, начну-ка снова,
найду единственное слово.
Вот это слово:

EIGENWERT

Ну времена-то! Вот лихие!
Свобода творчества окрест!
Стихи бушуют как стихии.
В кино — неслыханный прогресс.
Клеймя идейное беспутство,
взошло высокое искусство,
взлетел поэзии Пегас
на гору, полную богатств.
Какое торжество культуры!
Метраж картин!
Тоннаж скульптуры!
Какой захват, какой замах!
Какая музыка в умах!
Какое изобилие чувств,
какая тонкость звонкость свежесть!

...А я по плоскости качусь
в тоске от собственных невежеств.
Не в силах я вместить культуру
в нутре испорченном своём.
Не в силах взять тропу крутую,
преодолеть её подъём.
Уже сто лет не слушал опер.

В театре не был тыщу дней.
Да наш Аврылов, местный онсер, —
и то, наверно, культурнѳй!
Читать стихи я разучился.
Считаю — пройденный этап.
Мол, все они важны не так,
как наши счѳткики и числа.
Но не хожу и в семинары,
где каждый тянет серенады
в честь достижения своего.
Живу, не зная ничего.
Мне полк учѳных книг не нужен.
Мой мозг и так за день натружен.
Но, впрочем, я свой помню долг:
на полки ставлю этот полк.
Стоят полки учѳных книжек
под потолки (или пониже),
и их немалый габарит
о культзапросах говорит...
Включаю я порой в субботу
радиостанцию "Свободу"
послушать порцию клевет —
и то, когда глушилок нет.
А так сижу, ничем не занят,
ничто не ждѳт, ничто не манит,
ни хоббей нет, ни дел, ни вер...
Двадцатый век! Что делать, сэр!
XX век — он, брат, не мѳд...
Сижу и жду, когда рванѳт.
На ухищрѳня пропаганды
и с той и с этой стороны
спокойно молвлю: "Брешут, гады,
да неумело, препогано!
Эх, и соврать не здоровы!"
Так почему же я так странен,
так приземлѳн,
так неастрален,
так неабстрактен,
так убог?
Увы! Не знаю, видит Бог!
То ль от того, что стал постарше,

а то ли в детстве не дорос?...

.....
Запас ехидства опроставши,
я выдам пару фраз всерьёз.
Всё дело в нём, в XX веке,
он не даёт в верхах витать,
прогнили старые в нём веки,
а новых вещей не видать.
Идеи трачены в нём молюю.
Слова в нём мечены бемолюю.
От громких фраз, от толстых книг
их первый смысл обрюзг и сник.
В век информации обильной
в нас крепнет нравственный порыв —
для информации обидный! —
жить, уши и глаза закрыв,
отгородить себя от света, —
бесспорный, явственный позыв
уйти в отшельники, в аскеты,
умчаться на манер кометы,
давление света отразив.
Интеллигентные аскеты,
отрачивая волоса,
бегут в туризм, обувши кеды,
бегут в широкие леса.
Жуют галеты и затирку.
Газеты — только на подтирку.
В берлогах прячутся в лесу,
как барсуки или Дерсу.

А в остальное время года,
когда в природу нету ходу,
по Броду бродят,
пишут ересь,
детей заводят,
пьют, изверясь, —
ну, в общем, что-то создают,
а что — едва ли сознают...

Как зверь в таёжные трущобы,
уходят в физику, в расчёты,
в мир звёзд, в логику, в себя.
Науку двигают сопя.

Чадят в ночи над чертежами.
И вдруг, забыв о прилежании,
забросят свой экономайзер,
Алгол,

Альголь

иль Eigenwert,
поклоны бьют икономазам,
Кижам,

искусству старых вер...
XX век! Что делать, сэр!
Не вышло, сэр, кататься в масле.
Держитесь, сэр, за Eigenwert
иль растворяйтесь в общей массе.
Выдерживайте, сэр, искус:
слов понапрасну не мочаля,
крепитесь в лучшем из искусств —
пренебреженья и молчанья!

ЕЗДИЛИ С НЕЮ В СТОЛИЦУ

Отправленье в 5.17.
Угол Брода с Пикадилли.
Пять минуток, чтоб собраться.
Разместились, покатили.

Слух пронёсся, что в столице
на квартире у знакомых
обсуждение состоится
новых действий незаконных:

может, новая подписка,
может, чтение прокламаций,
может, просто низко-низко
перед кем-то преклоняться.

Скажем, выдаст с того света
сотню строчек долгожданных
на-гора, в Страну Советов,
светлый гений Мандельштама.

Или, заимев знакомства
в царстве бледного Плутона,
словно спутник, пустит в космос
повесть новую Платонов.

Или, тоже из-за Стикса,
перебросит нам шпаргалкой,
обеспечив связность текста,
новый свой роман Булгаков.

Ведь одно из ценных качеств
наших нравов и традиций —
в том, что, даже мёртвым значась,
можно, как живой, трудиться.

Сколько важных достижений,
человеческих дерзаний
сохранил славянский гений
человечеству тем самым!

Даже тем, кого убили —
незаслуженно, конечно, —
есть возможность реабили-
тировать себя в дальнейшем...

...О подобных благородных
достижениях прогресса
толковал я полдороги,
а потом уснул, пригрелся.

Приезжаем. Пир в разгаре.
Пир крамольной мысли русской.
В центре — блюдо с пирогами
и ведро, чтоб черпать кружкой.

А кругом толкают мысли
о спасении Расеи
впереमेжку те, кто вышли,
с теми, кто ещё не сели.

Я молчал, сидел, внимая,
мне в новинку был их норев,
я привык: страна немая,
не болтай, сиди, как ворон.

А вокруг хлестали виски
отщепенцы, ренегаты,
без работы, без прописки, —
лишь решимостью богаты.

Я глядел на эту секту
вставших выше личных выгод.
Я глазел, грустя, на всех, кто
завтра днём на площадь выйдут.

Нет, не их мне было жалко,
о себе тогда я думал:
что не в силах жить так жарко,
что не смог бы стать под дулом.

Нет, не дулом — под кирзовым
сапогом поди-ка выстой,
пред бессильем и позором,
перед гиканьем и свистом.

А они — ведь верят, черти, —
нипочём и свист, и визги.
Мне бы кружкой ихней черпать
искру веры вместе с виски.

Вот Андрей — смогист, историк,
хмырь болотный, метафизик...
Отчего ж он прям и стоек,
как он искру эту высек?..

Или Верка-машинистка,
судомойка из буфета —
та же вера, та же искра —
искра нового завета...

Как подумать: что в их силах,
знают что и что умеют?
Только гибнуть в лучших стилях,
только в петлю сунуть шею...

А у нас в руках основы,
нам бы ухнуть да поддёрнуть!
Но пред ними мы все снобы,
травоядные фрондёры.

Мы гордимся бегством в знанье.
Мы творцы миров, не мене...
Но кривые мироздания
нас не делают прямее.

Нет ни сана, ни рожденья,
нет ни грека, ни еврея —
перед силой убежденья,
перед совестью своею...

...А потом — пошли наплывы...
...Был всё жёстче кружки скрежет
о ведро... И мы поплыли
из-за острова на стрежень.

И пирушку осенили,
из нутра извлечены,
записные

расписные
в стельку

Разина челны.

Челноками унесённый,
грёб я сильно, плыл я долго,
то ли пьяный, то ли сонный, —
и причалил утром дома...

Вспоминаю, словно в трансе,
речи, что вчера гремели...
Как-то им сегодня драться:
голова трещит с похмелья?!...

РАССКАЗ АЛЁНЫ

Словно в Англии, в Лондоне,
словно это Гайд-парк,
мы явились на Лобное
свой ударить гопад.

Ко блажному Василию,
там, где Митрий с Кузьмой,
чтоб разведаться силою
с неразменной казной.

Громогласною пляскою
янычар подразнить,
оккупацию пражскую
в чачача отразить.

Было людно и празднично.
Ветерком окрылён,
чуть потрёпанный разве что,
реял флаг над Кремлём.

И, народом запруженный,
походил этот плац
на ожившего кружева
нескончаемый пляс.

В мире не было горести,
был он — царство добра...

Я сказала вполголоса:
"Что ж, ребята, пора!"

И, балет начинаючи,
мы с неловким смешком
завели руки на плечи
и сомкнулись кружком.

И как будто копытами
по камням мостовой,
и как будто под пытками
первый крик наш с тобой —
первый крик человеческий,
воли вольной азы,
волчий вопль изувеченных, —
гнева гордый язык.

Он пронёсся, пронзительный
боли крик, как блицкриг,
над толпою, у зрителей
рты и уши раскрыв.

И в едином движении
цепи сбросивших тел
над крестами Блаженного
хоровод наш взлетел,
над кремлёвскими парками,
над густым вороньём,
над ответственным карканьем
совершая подъём.

Как шары, невесомые,
глядя сверху на плац,
стуком сердца несомые,
продолжали мы пляс —
прямо к солнцу, где полымя,
где лучей его дожди!...
Сколько длилось, не помню я.
Только кончились всё ж

те мгновения краткие
на виду у Земли.

И пошла на посадку я.

И ребята пошли.

А внизу-то на паперти,
стукачей косяки...
Нет, не больно. Ни капельки.
Пустьяки...

Л Ю Б Л Ю

Мы больше не порознь, — мы больше не розно.
мы в сонме бессмертных,— о прозы пронзание!
исчезла бесспорность — как сладко и грозно —
эвклидовых метрик — занятие познанием!

Где ясность желаний? — познание смеха,
Где планов криница? — дыханья и запаха,
Небесный журавлик — познание бессмертия,
в горсти, как синица, — продлённое полночь.

И снова мир смутен — азы узнавания,
и скуден как издавна, — предлоги продрогнувших,
и путь к самым сутям — моря разливанные
не видно мне сызнава — незваных подробностей.

Я строю по новой — неверья невольные,
систему и метрику — двух теней смятение,
и снова в основах — безмолвные молнии
смятенно и ветрено — в спасительной темени.

И вижу я, вникнув, — прозрений разительность,
что истина — в Римане, — сквозь время послания...
что индефинитна — о счастья пронзительность,
связь цели и времени — как средство познания!

Что мир — не задачник — о истины таинства,
научный, ничейный — где жребии розданы,
а веред зудящий, — где судьбы сплетаются
объект для лечения — печально и грозно!

ЛИЦО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

В эти дни, когда была обещана
свобода чешская,
я вспомнил Михоэlsa.
Он приехал в разрушенный город,
шёл по тёмным улицам,
как вдруг слышал топот.
Бежали тоже пятеро. Они спешили
выполнить свой интернациональный долг.

Один двинул улыбающегося Михоэлса под дых:
— Получай, Соломон!
Другой пырнул ножом.
От нестерпимой боли он упал.
Они наступили сапогами
на его красивое, доброе, уродливое лицо.
Они резали его лицо ножами.
Им было легко и удобно
топтать жесткими сапогами мягкие члены.
Им было даже неинтересно,
до того просто исполнялся
интернациональный долг.
Хрустели зубы. Хрустнул плоский нос.
Потом всё это нормализовали.
Мышцы сшили, кости скрепили.
Были торжественные похороны.
Так живое перерабатывается на историю.
Так вписываются в историю
Джон Кеннеди,
 чешская свобода,
 лицо человеческое.

ПРИВЕТ КОЛЛЕГАМ

Неизвестные гении
из НИИ и ВЦ,
из п/я Оппенгеймеры,
Винера́ из в/ч,
 Фарадеи в зародыше,
 дебютанты Ферми,
 Галилеи-воробушки
 из Мытищ и Перми.
Вас подмяла держава.
Вы дешевле лузги.
Безработные, ржавеют
ваши чудо-мозги.
 В общий стиль вы не лезете.
 Ваш некстати размах.
 Ваших помыслов лезвие
 портит гладкость бумаг.
За квартальными планами,
под начальственный бас,

искры божьего пламени
гаснут попусту в вас.

Вас сажают на табели,
вам паяют чины.

Ах, такие масштабы ли
вам от Бога даны!

Вам бы вырваться в завтрашний,
распахнув для людей
неоткрытые залежи
сумасшедших идей.

Но не ваши фамилии
у людей на устах,
повсеместно хвалимые,
прозвелят, как хрусталь.

О, трагедия гения
у судьбы не в чести,
одиночество Гелл-Манна
без полей и частиц!

Люди мощности Кантора,
где ж ваш алеф, друзья?
Вам бы слыть бы Декартами,
вам бы слыть — да нельзя.

Да нельзя, да не велено,
запрещает устав...

И сгибаются гении,
от безделья устав.

И сидят в кабинетике,
лупят об стену лбом —
не отцы кибернетики,
а создатели бомб.

Академик от атомных.

Водородный членкор.

Бляшки лауреатные
за подводный линкор.

Их считают вандалами.

Им проклятия шлют.

Начинали Ландауами —
докатились до шлюх...

О, умельцы в сближении
мегатонных ракет!

Зазаборные гении!

Прощальный привет!

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР. НЕ УДЕРЖАЛСЯ ОТ РУГАНИ

Ура, писатели, ура!
Давным-давнёхонько пора!
Чего ж до той недели
вы, милые, глядели?

— Писатели, писатели,
хозяйских пят чесатели!

Как вы, наёмники пера,
облома душ инженерá,
терпели каплю примеси
в своём Дворце Терпимости?!

— Писатели, писатели,
под дудочку плясатели...

Меж вашей бездари — талант?
Меж вашей шушеры — Атлант?!
Меж подлости и косности —
муж доблести и совести?!

— Писатели, писатели,
сановных шкур спасатели...

Среди бесплатных стукачей,
среди парадных рифмачей,
среди вашей кучи мусора —
умелец слова русского?

— Писатели, писатели,
постелей потрясатели!

Союз ублюдков языка,
союз маразма разума —
вам честь от бывшего з/к
была на час оказана.

— Писатели, писатели,
в карман властям поссатели...

— А вы не поняли, что честь,
что вас таких — на фунт по шесть,
что вам — корпеть в увечности,
а он пришёл из вечности!

— Писатели, писатели,
голов под дуб тесатели...

Да вы подумали ль хоть раз:
ОН в СВОЙ союз ли примет вас —
союз прямого, честного,
союз Толстого, Чехова?!

• • • • •

ОПЫТ

Меня качнуло в талии.
И в шее. И в ногах.
Как под коленки вдарили —
не распрямлюсь никак!
И в такт моим качаниям
спокойно
со стола
модель — как плот — отчалила.
Печально-величавая,
снялась и поплыла.
Плыла она по комнате
неспешная, спокойная...
покуда проводки
не стали коротки...
И здесь чего-то треснуло!
Виновник чуда крестного
с огромной быстротой
(наверно, экстраток)
ударил в плинтуса —
и кончил чудеса...

Бежали люди с воплями,
ужасный был концерт, —
спастись хотели вовремя,
попавши в эпицентр.

Я вышел вслед за прочими,
пылищи было — страх!
Нет, строить — так уж прочно бы!
Храм Спаса на соплях!..

ПЕРСПЕКТИВОЧКИ

Третий день воскресник.
Таскаем кирпичи.
Храм, похоже, треснул
до самой каланчи.
Нарушены пропорции.
Отдушины попорчены,
которые Корнил
своей рукой кернил.
И в храмовой охране

хорёк нахальный ранен,
которого Корнил
своей рукой кормил.
Хожу, как все, по городу.
Сижу, как все, в пивной.
Придёт кому ли в голову,
что это я — виной,
что не землетрясение
промчалось по Расее,
не Скандинавский щит
от старости трещит,
что не Земля-старушка,
а Исаак Вайсброт
храм, как Самсон, разруша,
вверг весь народ в разброд...
...Была модель картонная
из дырок и заплат —
устройство, для которого
есть термин — "на соплях".
И вдруг нахулиганила:
взлетела со стола
и гравиколебания
в эфире создала.
Ну что ж! Приятно изредка
взглянуть на чудеса!
Но чьих же сил ты, Изенька,
приветствовал десант?
Искал ты волны тяжести,
усилить их хотел...
Но что про ЭТО скажешь ты —
про воспаренье тел?!
.....
Откуда воспарение,
я не пойму никак.
С чего бы ускорение
переменило знак?
Не антигравитоны ли
рождаются в кольце?
Не врёт закон Ньютона ли
при приближеньи к с?
Эффект взаимодействия

двух волновых систем?
Всё сплошь темно. Всё девственно.
Всё страшно вместе с тем!

.....
Ну, тисну публикацию
в журнале "Письма в ЖЭТФ":
"Эффекты гравитации
с обратным знаком g ".
Пойду на шаг рискованный
и тензор $g_{\mu\nu}$
какой-нибудь штуковиной
особой заменю;
не объяснив логически,
на первых на порах
фе-но-ме-но-логический
представлю аппарат.
И, новизной прельщённая,
на новый континент
рванётся рать учёная,
как древний печенег.
Секим-башка раскосые,
степная злая тать
махнут лужки роскошные
копытами топтать.
И мужики солидные
в очках и в бороде
пойдут в края целинные
на чёрный передел.
На символы Кристоффеля,
на тензор вещества
походами крестовыми
как двинут — мать честна!..

.....
Да ладно б только мысленный,
за знанием, набег!
А ведь найдутся квислинги
среди моих коллег!
Что, мало, что ли, нечисти
у нас в высоком жречестве?
Наскочит свора борзая
из-за оград НИИ,

практически используя
открытия мои.
Кудрявые опричники
бесценного меня
обсыдут, словно прыщики,
от вражьих ков храня.
И будут наши тензоры,
цветы игры ума,
державою растерзаны
на страхи и грома.
Не плод воображения
учёных мудрецов,
а вид вооружения
сержантов и бойцов.
Снарядами и минами
как ахнет навесной,
разя средствами мирными —
пространства кривизной.
Не станет грозной копоты,
растает жаркий смерч, —
не как теперь, на кобальте, —
гуманней станет смерть.
И обернутся чистые
секреты дальних звёзд
мученьями, бесчинствами,
победой зла и зверств:
летучими армадами
невесящих машин,
могучими командами
сержантов и старшин,
колючими оградами
бессчётных лагерей,
дырявыми карманами
отцов и матерей.
Простые знаки честные,
моей души печать,
придут на земли чешские
учить, душисть, кончать.
Не хлеб я дам голодненьким,
не счастье дам я им,
а финку — уголовникам,

хозяевам моим.
И гордость мамы, Изенька,
научник из Двины,
вдруг превратится в изверга,
злодея без вины.

.....
Пусть вспыхнет грозным знаменьем
виденье Хиросим:
должна быть мера знаниям,
когда нет меры сил!

Сожги тетради, Изенька,
сотри-ка чертежи.

Прости, наука физика!

Привет, наука жизни!

ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Дверь —

на запор. И включил матюгальник:
...ТЕРРОР ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ В МИЧИГАНЕ...
Под мрачные эти известья
модель водрузил на асбест я.
...НА УЛИЦУ ВЫШЛИ РАБОЧИЕ ЧИЛИ...
...ПОСОЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ НОТУ ВРУЧИЛИ...
От этих событий в восторге,
достал я тетрадь (для растопки),
...Но страх что за спички у фирмы "Заря".
Извёл полкоробки: шипят, не горя...
...К тому ж у повстанцев Йемена
опять неудачи временно...
...Но, к счастью, казнили шпионов в Ираке...
...И новую домну задули поляки,
отличную домну, большую...
Я тоже счас домну раздую...
Я дул — а в атаку пошёл капитал...
Я дул — а Израиль себя запятнал...
Я дул — под налёт во Вьетнаме...
Я дул — под события в Панаме...

ПОБЕДА... советских спортсменов в Осаке..
Жизнь стала прекрасна..
...Хоть завтра осадки..

Бежит по листочкам пламя..
...Как все, выполняю план я!

Не план свершений и побед,
а план сожженья, план — побег.
Не план борьбы за качество,
а план, преступный начисто...

.....
Я не жалел ни на волос,
ей-богу, не страдал,
что этот план давал АВОСТ
блистательным трудам.

.....
Сжигал я неразумный пыл,
плоды труда безмозглого, —
и дым модели плавно плыл,
плыл,
как модель,
по воздуху.

.....
Захлёбываясь пламенем,
безвременно скорбел
прижизненный мой памятник
самому себе.

Горели стойки и картон
и схема коммутации,
а две статьи — уже потом —
сгорели камикадзами.
И поднимались в небеса,
переплетаясь вычурно,
сгоревших функций

полюса,
в сгоревших точках
вычеты...

Вот уравнений длинный ряд
в нуль обращён тождественно..
А эти матрицы горят
спокойно так, торжественно...

Но вот последний интеграл,
в обход ветвления выбежав,
от жара ножку подобрал
и почернел, не выдержав...

Остались пепел и зола
на месте домны-домнушки,
и спички фабрики "Заря" —
в асбесте, что на донышке.

...Один заход, один присест —
и нету невесомости...

.....
Как прост он,
доменный процесс
успокоенья совести!...

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

О первой любви
последние пригоршни!

Последнюю ночь
я живу верноподданным.
Последняя ложь
нынче ввергнута под ноги.

О сердце, от боли,
как мальчик, подпрыгивающее!
Небесные молнии,
победы над теменью —

все страхи, все комплексы
пропали, постылые,

над мерзкими, подлыми
тюремными тенями —

как сердце-то полнится
свободой и силою.

Оков сокрушение,
обмены вселенными —

как пышет-то полымем,
как рвётся — как шарик,

и вновь воскрешение
губами целебными, —

чтоб выше, чтоб по небу, —
жаль, рёбра мешают.

Сплав духа и вечности,
летающий по вечности,
двуцветья рассветные
и, с светом пришедшие,
решенья пресветлые,
на вид сумасшедшие,

ходы не по логике,
судьбы нашей выверты,
дорога в колодники, —
а проще — оргвыводы...

.....
ОНА: Мой милый...

Я: ...смелее вверяйся ты року,
молися Востоку,
будь верен Пророку...

ОНА: Не дурачься,
я, право, серьёзно:
мой милый...

Я: ...хороший, купи мне галоши...

ОНА: Ну, довольно,
оставь же, послушай:

— Мой милый, мой славный,
будь сильный, не слабый,
восстань и воздай.
Не прячься в безвестность.
Раз всюду беззвёздность —
стань сам, как звезда.
Взойди, как светило.
Сверкни, чтоб смутило
их рабский покой,
их жизни маразм,
невидимый глазом,
пред ними раскрой.
Пусть ахнут коллеги —
да все на Руси —

давай их колебли,
тряси их, трясина,
их всех, чьи колени —
души пьедестал,
встряхни, поколебали,
вставай, раз уж встал.
Пусть пепел загадок,
тобою сожжѣнных,
оставит осадок
на лбах их лужѣных, —
воздвигнись над ними,
могуч и красив, —
тряхни их владенья,
как храм накануне
толчки тяготенья
по швам тряханули,
тряси их во имя..
Да просто трясина!

В том мире забитых,
забытых, усталых, —
в ком силы избыток,
пусть вспыхнет, как Палах.

Вспыхает над смрадом
январским костром,
открытия чадом,
горючестью строф.

.....
Мой славный, мой милый,
мой слабый, мой мирный, —
сомнѣм им парад.
Ян Палахом вспыхнем
над праздником ихним —
сгорим, как горят.

И Я ВСТАЛ, УМЫЛСЯ И ОТПРАВИЛСЯ СДАВАТЬСЯ.

О С Ь Z. ПУТЬ НАВЕРХ ИЛИ ПИГМЕИ

Есть в Африке народ — пигмеи.
У них богатая страна.
У тех пигмеев есть идеи:
им независимость нужна.
Они мечтою увлеклись:
от европейцев не завися,
самим ковать свою судьбу.

Но как же развивать борьбу,
когда морально устарел
запас пигмейских пик и стрел?

И вот, беря с других пример,
в Москву приехал их премьер,
по имени Мбали Нбандуло,
размером чуть повыше стула...

Никто с пигмейским языком
пока в Союзе не знаком:
велись переговоры жестом.
Руками, телом, задним местом
нам демонстрировал пигмей
стремленья родины своей.
И, по-пигмейски не умея,
мы всё же поняли пигмея.
Язык гримас, кивки и миги
в боезапас, штыки и МИГи
перевели.

Врагов взбесило
коммюнике.

Оно гласило:

СВОИМ ВЕЛИКОДУШНЫМ ДАРОМ
ГОРЮЧИМ ТАНКАМИ РАДАРом
СОВЕТСКИЙ НАШ СОЮЗ СНАБДИТ
СТРАНУ ПИГМЕЙСКУЮ (в кредит).

Добыв военные излишки,
уладив все свои делишки,

милитаристов вызвав злость,
в Задвинск катит высокий гость.
Наш белый вождь вчера, как выпил,
вручил ему тот самый вымпел,
который сброшен на Луну,
и крикнул: "Съезди за Двину!
Во всей красе мы вам, пигмеям,
там нашу мощь явить сумеем".
Хотя не поняло Нбандуло,
но утвердительно кивнуло.

И вот сегодня по росе
скользят машины по шоссе,
мчат мимо шлюзов и ворот,
трясин и топей, и болот,
забытых нищих деревенок,
дач сталинистских здоровенных,
мнут километры под себя,
проходим издали трубя.

И вот под соснами большими
мелькнули чёрные машины,
дают последний разворот —
и замирают у ворот,
где столб, у самой загороды.

А здесь уже кишат народы,
России верные сыны,
чины учёные Двины,
фигуры,
 должностные лица:
главжрец, замглавы, помы, вице,
окорока, бока, мяса,
Двины надежда и краса —

команда ражих и бедовых,
живот свой положить готовых
на алтари за нашу власть
 (как глянешь: сила,
 есть что класть!).

Стоят приветственные толпы.
Звучат ответственные толки.
Авгуров стройные ряды
равняют груди и зады.

Вокруг — обычная картина —
застыла серая скотина,
простой учёный персонал,
науки главный арсенал,
её грядущего основа —
народу множество честного,
те, нет на ком чинов и власти,
кто гнёт металл и режет пластик,
кто потом камеру кропит,
у репроекторов корпит
и сопрягает световоды,
и зачищает электроды,
и тянет канитель программ
по мозга своего буграм,
кто гранки правит,
чертит схемы,
считает клёбши...
словом, все мы.

...При виде вереницы чёрной
зашевелился сан учёный.
Авто с пигмеем

без ошибки
определил,

зажал в кольцо,
и, млея, натянул улыбки
туда, где у людей лицо.
И тянет у машины дверцу
рукой,

прижав другую к сердцу.
Замри, мгновенье!
Ты прекрасно!
Слова заветные рожай!
Пера усилие здесь напрасно —
давай анналы!

Где скрижаль?

Среди приветственного гула
начальство вынуло Нбандуло.
"Лобзай!" — дало клевретам знак
и замерло.

ПРЕМЬЕР БЫЛ НАГ!

На площадь, двинский лобный форум,
пигмеец вылез голынём.
Из всей одежды был при нём
портфель с известным договором!

Мы изумились. Но — не вдрызг.
Отвыкли как-то мы дивиться,
глаза не стали прятать вниз;
одни лишь школьницы-девицы
издали свой нестройный визг
(им стала наконец ясна
разгадка белого пятна
в анатомическом альбоме
в их школьном курсе анатомьи).

И их пытливость молодая,
счастливым свойством обладая
толкать на новые дела,
и в нас пытливость родила.
В несмелом, неумелом геме,
в возникшем лёгком балагане
(но — без критической струи!)
своим мы долгом полагали
сужденья высказать свои.
Хотя мы ясно понимали,
что спросят нас о том едва ли,
что взять вопрос на абордаж
завпротоколом должен наш,
хоть он — по службе,
мы ж — бесплатно,
хоть он — умно, а мы — нескладно,
но всяк из нас по мере сил
решенья про себя вносил.

Охотно новые задачи
народ наш ставит пред собой.
И здесь народ поспешно начал
давать решения вразнобой.
Возились те, копались эти
то в этике, то в этикете;
один воскликнул: "Что ж такого!",
другой припомнил "Сон Попова",
а третий — Господи спаси —
приплёл крещение Руси.

Но пуще всех вопрос разросся
у тех, кто понял суть вопроса
в её существенном звене,
в её идейной глубине.
Они

кишели у машины.

Они

как быть решить спешили —
костяк науки, цвет страны,
чины учёные Двины.

— Одеть пигмея для приличий!
— Вы что? Народный их наряд
сменить на русский?
— Нет, навряд,
нарушим этим их обычай,
легко вот так испортить сдуру
их самобытную культуру.
Нет! Пусть идут своим путём
туда, куда и мы идём...
— Наш путь — в штанах!
— Ну что ж! Не токмо
свет из порток.

Марксизм — не догма...

— Не дать ему ходить нагим —
типичный правый перегиб.
— Но дать ходить в костюме Евы —
загиб обратный будет, левый...
Народ подумает о чём?
Что НАМИ гость разоблачён!

— Что нас влечёт разоблачение!
 — Что ревизуем мы ученье
 всех корифеев и вождей!
 — Что НОВЫХ мы хотим идей!
 — Что налицо — чехословацкий
 уклон опаснейший левацкий!..
 — О ужас!
 — Тсс!
 — НЕАККУРАТНО . . .
 — БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО!
 — Нет, в этом некий смысл защит:
 народ наверняка решит,
 что все этические нормы
 зовём отбросить с этих пор мы.
 — Пахнёт тут западным душком...
 — Тлетворным смрадом новых школ...

Чины решали. В гуле реплик
 мужала мысль. Решенья крепи,
 готовясь стать — в который раз —
 ведущей силой зрелых масс.

Завпротокол, полковник Боров,
 приёмом ведавший гостей,
 был в гуще этих разговоров,
 до них касаясь, как Антей.
 Он, в духе нового завета,
 искал у партии совета
 (перековавшись с должных дней,
 на ставил он себя над ней):
 он был таким, каким велел
 типичный партхамелеон:
 добрел, когда кругом добрели,
 хамели все — хамел и он.

Рой верных мыслей и догадок
 он за каких-то пять минут
 схватил,

 связал,
 привёл
 (в порядок),

как в отделение ведут.
Наружно ж он себя не выдал,
всё было как обычно с виду,
ни в чём он не переменил
стандартный церемониал.
Лицо привычно улыбалось,
спина привычно изгибалась,
язык лизал, повергшись ниц,
места, что ниже поясиц
(район, особо отведённый,
рескриптом свыше утверждённый
для укрепления дружбы уз
с пропущенными в наш Союз).
И все учёные чины
не посрамляли честь страны:
покуда гости вылезали,
их всех усердно облизали¹.
Ведь долг есть долг.
Noblesse oblige.
Полез в дерьмо?
Раз влез, то лижь!

...Был крайне творческой натурой
полковник Б. Родной культурой
он в совершенствии владел
и знал, что это не предел.
Специалист по этикету,
глядел он в душу, как в анкету,
и гнусный вольнодумный дух
в субъекте чуял он за двух.
Не талмудист и не начётчик,
умел читать он между строчек
и знал, кому и что сказать,
кого вязать, кого лизать,
кого продвинуть вверх по службе,
кого предупредить по дружбе,
кого по-свойски подсидеть,
кого отправить отсидеть.

¹ Опечатка: облобзали.

Он знал, на что годны законы,
он знал обходы и препоны,
он знал донос, поклёп, навет,
служил и в культ, и в культпросвет
и всюду цвёл. И всюду снова
ловил решение с полуслова,
в ответ что надо говорил
и, вдохновясь, горел, творил.
Такого натворит, бывало,
что дыбом всё кругом вставало:
огонь и дым, зола и чад,
плач матерей и сопли чад,
убытки, подвиги пожарных,
энтузиазм широких масс,
гром духовых и треск ударных,
передовых статей экстаз,
портреты, ордена, призывы..
А там — другие директивы.
А там — сверканье новых дат...

Таков был партии солдат —
всегда на стрёме, наготове...

На этот раз свела судьба
лицом к лицу, крута, груба,
его —

с пигмейской наготовою.
Была задача нелегка:
нет времени звонить в ЦК,
нет времени глазеть в скрижаль —
не медля, сам соображай.

Решенье верное рожая,
он отошёл, соображая,
и творчески заприменял
марксизм, начало всех начал.
Он для начала сходу, с места,
припомнил все решения съезда
подряд, цитата по цитате —
но были все они некстати.
За пленумом припомнил пленум —

но все они покрылись тленом,
их резолюций капитал
ничем его не напичкал.
Зря только силы он потратил
на "Философские тетради".
"Дипломатический словарь" —
и тот, представьте, спасовал.
Затем — и снова труд напрасный —
перетряхнул он фонд запасный
(как на магнитном барабане,
записан был в мозгу заранее,
в его заветных кладовых,
запас статей передовых,
сменяясь стройно и картинно,
когда менялся курс партийный).

Но не смирился он с потерей,
привлѣк он практики критерий
и здесь, среди сора и песка,
зерно жемчужное сыскал,
и хлопнул по лбу:
"В чём вопрос-то?
Да выглядит он, право, просто,
едва лишь я с него сдеру
морали тонкую кору:
не надо думать о народе,
что-де обидится он вроде,
что неприятно удивит
его — пигмея — голый вид.
Мы все — народ.
К любым идеям
приспособляться мы умеем,
и, если надо, мы мораль
пошлѣм смотреть за далью даль.
К чему подчѣрживать различья?
Зачем их в дело подшивать?
Нет! Ради Родины величья
их нужно снять, затушевать.

Мы много общего имеем.
Но в чём меж мною и пигмеем

искусственный водораздел?

Что

братских чувств претит разгулу?

Что я — одел,

а он — раздел

свою подспудную фигуру?

Помеха ль это братской встрече?

Ведь что он снял?

Ответ простой:

он просто снял противоречье

между одеждой и собой.

Сниму и я, разденусь весь я,

восстановлю я равновесье,

тогда оценит гость-пигмей

радушье Родины моей!

Он гол — такой в Пигмее климат, —

он языками чисто вымыт!

Он бос — такой у них климат, —

но человек, а не примат!

И каково ему, нагому,

видать одетых по-другому,

в штанах, при галстуках, в жилетах —

как бы назло ему одетых,

как бы над их народом нищим

мы повод для глумленья ищем.

Припомнит тезис он китайский,

что дух и долг свой пролетарский,

сойдя с идейной вышины,

мы променяли на штаны,

а сладость мировой победы —

на ежедневные обеды.

Сражённый тайною обидой,

уедет грустный он, убитый —

тут даже вчуже загрустишь.

Уедет — пусть, — в нём проку мало,

но что, как не домой, а к Мао, —

и пострадает наш престиж?

Нет! Чтоб не пострадать престижу,

один

я выход только вижу.

Он недостаточен один,
но всё же он необходим!"

И он решил!
И он решился!
И он решением разрешился!
И зрелый голос над толпою,
ещё незрелую, слепую,
но уж созревшую прозреть,
пронёсся. В нём звучала медь.

— "Чины напоминать не надо
о чести выпавшей двине
я горд командовать парадом
приказано сегодня мне
коллеги я скрывать не стану
наш гость одет немного странно
и кой-кого из вас светил
науки

этот вид смутил
вот ты светило

ты смущённый
я вижу а ещё учёный
прошёл небось сквозь политсеть
успел изрядно полысеть
немалым ведаешь участком
в светила выдвинут начальством
в европу шлѣшься нами часто
(хотя в восточную пока
но новая ступень близка)
в партком тебя мы выбирали
гостей лобзать мы доверяли
и вдруг гляди решил смутиться
смотри-ка можно и сместиться
не спорь я видел! без полемик!
а ещё сибирский академик!..
и все вы так который год
учу я вас и всё без толку
глядите в лес подобно волку
но я отвлѣкся ну так вот
во избежанье личных мнений

во устраненье лишних трений
во измененье прежних правил
по полномочьям данным мне
зачту приказ что я составил

ПРИКАЗ ПО ОБЛАСТИ ДВИНЕ

ЧТОБ ВЫСКАЗАТЬ ЛЮБОВЬ К ПРЕМЬЕРУ
ВСЕМ КТО НА ВСТРЕЧУ ПРИГЛАШЁН
ПОЙТИ НА ВРЕМЕННУЮ МЕРУ
ТОТЧАС ОДЕТЬСЯ НАГИШОМ
НОШЕНЬЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
РАЗРЕШЕНО

ПОЛКОВНИК БОРОВ”

На миг всё замерло вокруг.
Был чин учёный огорошен.
Наверно, каждый вспомнил вдруг,
каким он в детстве был хорошим,
как малышом-катигорошком
вверялся он прямым дорожкам
и топом топал по лугам,
и был безгрешен, нелукав;
как под надзором строгой мамы
читал он МАМА МЫЛА РАМЫ,
потом играл, подростки, гаммы,
потом — в поход Васко да Гамы;
учил про тонны и про граммы,
и про протоны сверх программы;
как мама с папой из младенца
растили Джоуля и Ленца.

Кто ж знал, что будущего Ленца
такие в жизни ждут коленца,
кто ж знал, что до такого срама
он доживёт... Ах мама, мама!
Да если б он узнал когда-то
про этот миг, про эту дату,
то...

Но скажу вам напрямик:
всё это длилось ровно миг:

в целительном великом клике
слились ликующие лики;
идеєю увлечены,
взялись чины снимать штаны.
Приличий путы вдруг исчезли,
из-под одежд на свет полезли
окорока, бока, мяса,
наук надежда и краса...

Эй! Убедитесь все, сколь ложен
слух, что живот свой не положим
мы на алтарь за нашу власть!
Глядите всласть!
Ведь есть, что класть!

Уж то-то гости были рады,
узнав знакомые наряды.
Стихийный митинг начался
и продолжался два часа.

Напрасно дождик моросил,
напрасно хмурилась погода —
стал митинг
ярким смотром сил
производительных
народа.

ФИНАЛЫ

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ. УПРЁКИ ВДУМЧИВОГО ЧИТАТЕЛЯ

Кто здравым смыслом время мерит,
моим картинам не поверит,
в них, скажет, ложь и клевета
узором мелким навита.
В плену своих воззрений ложных
фарс недостойный разыграв,
в них грубо исказил художник
учёных наших быт и нрав.
Отсталым вкусам потрафляя,
порхая в стиле баттерфляя,
он вывел в них такой содом,
что, право, верится с трудом...

Да и на что он поднял руку?!
На нашу гордость — на науку!
Взгляните на её дела:
она ракеты нам дала,
она нам космос подарила,
луну с обратной стороны...
А что в поэме?

В ней видны
одни начальственные рыла!
Она взвивается с низов,
умом впивается в мезон,
то лазер нам дарит, то мазер, —
а он её низводит наземь!..
Она нам выдаст вдруг квазар,
а он бубнит про дух казарм.
Она в ответ — надёжней мазер,
а он отверг — и дёгтем мажет!
Она нам — антигиперон,
а он — как хватит топором!..
Её успехи бесподобны —
его наскоки беспардонны;
мы открывем ДНК —
он оголяет донага...

Да он бандит!
Да он преступник!
Да он и нас, гляди, пристукнет!..

Эй, братцы, писаря хватайте!..

Такой горячий монолог
закатит вдумчивый читатель,
меня загнавши в угол...

ВТОРОЙ ФИНАЛ. ЖАЛКИЕ ПОПЫТКИ ОПРАВДАТЬСЯ

А я ни слова не промолвлю,
смолчу, что это просто чушь.
А я в углу дыру промою
и на свободу просочусь.

Что ж, пусть, читатель, ты не веришь —
де, перед правдой я в долгу —
и строго судишь, здраво меришь, —
а я вот здраво не могу.

Давай уж до конца долгу.

Ты молвишь: "Быть не может!",
словно
не всё в наш страшный век условно,
как будто всё не смещено,
не скручено

и не согнуто,
и вспышкой атомной
как будто

навек не освещено.
Хватает в веке керосина:
Освенцим, Прага, Хиросима,
Б.Пастернак и Лютер Кинг,
концлагеря за чтение книг.
Расшатаны его шарниры.
Глашатаи его — шарыги.
В его морали нет табу.
Он их табун пустил в трубу.

Он прощелыга,
он агностик,
актёр бездарный из кривляк,
что рожи корчит на подмостях
в своих бесчисленных кремлях.
А как замыслит что лихое —
ославить или разорить, —
то слов высоких шелухою
глаз норовит вам засорить.
О век трескучего металла!
В нём чистых слов совсем не стало,
на всех казённое пятно,
у каждого двойное дно.
И я, как все, глазеть прикован
парад невиданных диковин.

Как оглянусь назад я вдаль —
каких чудес я не видал!
Каких скотов,
каких уродов,
каких сортов вождей народов —
что хочется сказать одно:
"Кино!

Ей-богу, как кино!
Что за убожество сценарий!
Какое множество каналов!
Как скучно торжествует зло,
и как добру не повезло!
Киномеханик — из нахалов:
меняет части как попало,
жужжат обрывки разных лент,
визжат абреки древних лет —
кино мы смотрим
"ВЕК ДВАДЦАТЫЙ",
дивится зал галиматье.
Свистит "Сапожники!" с досады,
уходит с фильма в темноте"...

Так не пора ли, не пора ли
и нам покончить наш набег —
вы не абреки, я не бек, —
поэму кончить без морали?

ТРЕТИЙ ФИНАЛ (ТЕПЕРЬ УЖЕ НАСТОЯЩИЙ)

Не пора ли, не пора ли
нам свернуть свои спирали,
план прелестный сократить,
кран словесный закрутить?

Не пора ль заткнуть источник,
оборвать лихой мотив,
на прощанье вместо точек
многоточие вкатив?

Я не скрою — были цели,
был внушительный проект,
да фундаменты осели
от строительных прорех...

И приходится свой замысл
из-за этого вредить,
и приходится вас за нос
из-за этого водить.

Извини меня, читатель,
за подобный произвол —
что чернила-то затратил,
а потоп не произвёл.

Пусть вопит дотошный критик,
возводя на стих хулу.
Автор был — а после вытек,
только лужа на полу.

Не ищи в поэме смысла,
промеж строчками не жмись.

Автор был, а после смылся,
унося с собою мысль.

Пораскинь теперь, потя,
поищи, включив фонарь:

велика ль была потеря,
как задуман был финал.

Поищи-ка в упоеньи
высший смысл
 во поэме,
раз поэма — без конца!

ЛАМЦА-ДРИЦА-ГОПЦАЦА

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Текст "Четырёхмерной поэмы" печатается по рукописи с исправлениями автора, сделанными в 1972--1974 гг.

В самом первом варианте поэма состояла из одной главы: "Пигмей". Она была закончена в 1964 г.; в окончательный текст вариант 1964 г. входит с незначительными изменениями (добавлен пассаж: "Что налицо чехословацкий уклон опаснейший левацкий"). Примерно в это же время автор задумывает новое произведение, первоначально не связанное с "Пигмеями", — "Авгуристан". Сохранились два наброска плана этой будущей вещи. Первый относится ко всей поэме, второй — только к нынешней Оси Y ("Дневник Изи Вайсброта"):

1. "Древняя земля кривичей. Ходили криво. Несколько неиспользованных Далем бранных пословиц. Кривичами — привечали. Кривичи — на печи — кирпичи. Окали. Просветитель. Школа, готовила счетоводов. Коллективизация. Остались только старухи и счетоводы. Старухи, сидя на печи, привычно грызли кирпичи. Счетоводы разворачивали планы сева кукурузы, мандаринов, кокосовых пальм. Просветитель оказался японским шпионом (его отец был в японском плену в 1904 году и привез литографию, на которой чёрточки складывались по азбуке Морзе в слова "Привет Гитлеру", а после освобождения не замедлил связаться с израильской разведкой и по её наущению портил кислые земли, подмешивая туда известь). Пересыльная тюрьма; за что арестовывали авгуров: одного в 1953 году за то, что ставил русским детям двойки; другого — за то, что создал теорию атомного деления, не будучи засекречен, и, несмотря на запрет, восстановил расчёты; за отделение Белоруссии от СССР и присоединение её к Абиссинии; за попытку создать Рязанское удельное княжество и т.д. В здании — научный центр. Начальник тюрьмы ген. Аврылов, директор центра. Переселение авгуров. Колючая проволока. После расстрела Берии разрешили смешиваться с кривичами. Новая социалистическая нация. Кто же такие авгуры. Молчат о главном. Так возродился этот край. Только число самоубийств и рождений гревышает среднее по стране втрое. Счетоводов заменили ЭВМ, теперь они планируют урожайность авокадо, арахиса.

Авгуристан. Вот так живём мы здесь, авгуры. Мы даже не знаем, что молчим о главном.

Утро. Несколько портретов авгуров. Бобик. Идеология. Рюкоть копь для нейтринного эксперимента. Строительство замедлителя (для равновесия с ускорителем). В горсовете принят указ о награждении орденами всех, кто дожил до 50 лет и не умер. Бабки-орденоносцы. Идея параллельного мира с другим кирпичом. Сомнения — публиковать или нет.

Директор. Аврылов. Завпротоколом. Всеобщий друг."

2. "Краткое содержание.

Жил человек. Он любил решать задачи. Однажды он придумал сам для себя задачу. И решил её. Оказалось, эта задача очень нужна науке. Тогда его приняли в научники (табельный № 1296). И сказали: давай, решай. Он сам придумывал себе задачи. И сам их решал. За это его хвалили и кормили. Незаметно он превратился в ЭВМ. Однажды на ЭВМ пришла девушка. Она сунула в приёмное устройство колоду перфокарт и нажала кнопку. Но ЭВМ стояла. Она смотрела на девушку. Она превращалась в человека. События между тем развивались. Решив очередную задачу, он задумался о значении результата. Задача была неразрешима, тем не менее он её решил. И задумался. И понял, что не имел права её решать. Решение может пойти людям во вред. И если может, то и пойдёт. Такого случая никто не упускал. Но смеет ли он не решать задачу, которую решил? Не за это ли его кормят? Не гражданин ли он своей необъятной родины, столь необъятной, что враги её неисчислимы и наглеют по мере того, как она становится всё необъятней?! Чьё сало, собственно, он ест? Это была трудная задача. Так называемая дилемма. И он разрешил её. Он сам её поставил и сам решил. В решении задач он собаку съел. Формулы он сжёг, модель сломал, теорию позабыл. И явился с повинной.

Замечание при корректуре. Судьба девушки автору неизвестна."

Вариант поэмы "Авгуристан", близкий к окончательному, сложился в 1968 г. Раньше других частей сложилась "Ось Т". Смыслообразующим фокусом поэмы теперь стали чехословацкие события; кажется, что под их впечатлением сформировалась вся поэма. Состоял этот вариант из "Путешествия по оси Т" ("пере-

ходы" — костяк главы — уже имели нынешний вид, а "привалы" были иными: одним из них был "Eigenwert", другим — "Смерди-ло"), "Прогулки по Храму" (называвшейся "Обход" и заканчивавшейся примерно "Перечнем утверждённых докладов") и "Пигмеев", а "Дневник" был оформлен в виде приложения (и заканчивался записью "Перспективочки"). Многие "Записи дневника" и "Привалы" ("Споры с лириками", "Eigenwert", "Науке ведь нужен душевный покой", "Народ наш великан", "Смердило") были написаны ранее как отдельные стихотворения и сначала не предназначались для поэмы. Стихотворение "Споры с лириками" имело эпиграф: "А мы — умы, а вы — увы".

Предпоследний, третий, вариант текста относится к 1969—1970 гг. Именно тогда поэма получила нынешнее название. Автор расставил части в их теперешнем порядке, в качестве "Второго привала" по оси Т было использовано новонаписанное стихотворение "По спинам пней...", в качестве "Четвёртого привала" — старое стихотворение "Остряк". В "Дневнике" автор дописал конец ("Доменный процесс", "Последняя ночь"). В "Обходе" также был дописан конец. После слов "Я пошутил... всё это шутка... шучу я, право... вот народ..." (описание дяди Гриши стояло выше) следовало:

Ну ладно, кончим свой обход...
Нам и осталась вовсе малость:
сойти на улицу осталось,
и наша кончится стезя.
Нет, нет, друзья, сюда нельзя,
тут храм тово — немножко треснул, —
тсс, остороженько, бочком —
он повреждён авгуром местным,
в науках наших новичком.
Он как-то опыт проводил,
не рассчитал эффекта сдуру
и чуть в кирпич не превратил
всю местную архитектуру...
Где он?.. По этой вот аллее...
Теперь?.. Сидит последний год.
Его мы, в общем, пожалели,
устроили самопривод,
прокуратура, в дело вникнув,
нашла смягчающий мотив

(я после дам его дневник вам,
подробней в дело посвятив)...
Вот мы сейчас на площадь выйдем,
места знакомые увидим;
жаль только, дождик-паразит
заладил, так и моросит.
А это что там за явление?
Какое странное скопление,
авгуров спутанный табун?!
Что он затеял у трибун?!
Что это?!
Уж не циркачи ли
через забор перескочили?!
А может, люди пьяны в дым?!
Пошли, читатель, поглядим...

В последнем варианте был заменён "Четвёртый привал"
("А за стихи платили деньгами"), добавлена запись в дневнике
"Очередной позор", изменён конец "Обхода". Было полностью
заменено описание жреца Кандыбы, которое раньше звучало так:

Вот наш верховный жрец Кандыба.
Он толст, за что ему спасибо.
Он рыж.
Он лысиной лобаст.
Науку двигать он горазд.
Он ей стратег, он ей патриций.
Он к красоте её традиций
ревнив.

Он двинский патриот.
Он сам традиции куёт.

Чтоб облегчить работы бремя,
чтоб влить задор в авгурский чин,
он двинскую придумал премью
и сам себе её вручил.

И, удостоясь этой чести,
на конференции в Рочестер,
от удовольствия сопя,
он ежегодно шлёт себя.

А воротясь, он нам, как равным,
даёт отчёт о самом главном.

Придут — поставит самовар
и начинает семинар:
 как доложил свою работу,
 какую где родил остроту,
и почему,
 и с кем,
 и где и
какие
 он толкнул идеи,
какой высказывал он взгляд,
такой-то слушая доклад,
что он в докладе том отметил,
как он докладчику ответил
и сколько тысяч лет тому такая ж мысль пришла ему.
И рады мы его успехам,
международным их аспектам...

Безвреден и самовлюблён,
Двиною мудро правит он...

Была сильно сокращена глава "Лапоть". После слов: "чтоб столетий на восемь им хватило бы дела" шло:

Ах, история-баба,
разбираешься слабо.
Ты бы, дура, не ржала,
ты бы, дура, дрожала,
не пришлось бы заплакать...
 ...Но шагал, надеясь тупо,
 как Иванушка со ступой,
 по Сибири лапоть.
Вот — ещё один шажок
 через снег и слякоть,
и
на Тихий
бережок
встал
державный
лапоть.
Оглянулся — и загнул,
помочился,

приловчился,
 и — шагнул.
 Шагнул,
 гонимый,
 окаянный,
 заспинникам наперекор,
 сквозь окоёмы океана
 до окаёмки берегов,
 до Сан-Франциско,
 до Аляски,
 спасаясь от царёвой ласки.
 И в дальней,
 странной Сан-Франциске
 заговорили по-русски.
 И сейчас хватает жалость:
 будь цари умнее малость,
 то давно бы, где Канада,
 был бы строй такой как надо,
 то давно бы наша власть,
 наша речь родная
 по земле бы разошлась
 от края до края.
 Но Аляску
 Александрю
 мы простим, уймём досаду.
 Просто сядем-посидим,
 что осталось, поглядим.

Вместо последних строк "Лаптя": "и один язык для народа: ЗЫК" в более раннем варианте стояло:

то ж
 папье-маше
 на виду и на душе:
 чтоб один язык
 был у власти —

ЗЫК!

— "Ах, едины ты
 ни на партии
 и ни на нации
 (хотя б не нацело

не делима ты
 ни на климаты
 и ни на личности
 а для приличности)

и ни на возрасты (вся склероза стынь — и ни по вере-то (все — как с конвейера ах, и не расово (все мы — граждане — Подъём! Подъём! Друзья, встаём!...	и ни на хворости юной поросли) и ни по разуму все не по-разному) да и не классово цвету красного)...”
— ”Ах, по образу в каждой области как космонавты мы так одинаковы Кричат: ”Подъём! Кончать с пенъём!” Пошли.	и подобию всё подобрано или молекулы мы до нелепого...”

В дальнейшем (до 1974 г.) автор неоднократно правил рукопись по мелочам, в основном, сокращая оси Т и Х.

* * *

В основу строения поэмы положен так называемый четырёхмерный "мир Минковского" — геометрическая интерпретация кинематики теории относительности. Мир этот назван по имени немецкого математика Германа Минковского. Мир физических явлений складывается из отдельных событий, каждое из которых описывается четырьмя числами: тремя пространственными координатами x , y , z и временной координатой t . В классической, дорелятивистской физике время играло более самостоятельную по сравнению с пространственными координатами роль, было совершенно независимо от них, было, как говорится, абсолютным. Минковский установил, что если вместо временной координаты t ввести пропорциональную ей мнимую величину $\sqrt{-1} ct$, то законы природы, удовлетворяющие требованиям специальной теории относительности, принимают такую математическую форму, в которой временная координата играет точно такую же роль, как и три пространственные координаты. Эти четыре координаты в "мире Минковского" совершенно точно соответствуют трём пространственным координатам евклидовой геометрии. Может показаться, что это чисто формальный математический трюк, однако это не так: оказывается, что пространство и время в природе тесно

связаны между собою. Время вовсе не абсолютно и образует с пространством так называемый пространственно-временной континуум. В различных пространственных системах координат время течёт по-разному.

В четырёхмерной координатной системе расположен и мир событий поэмы. Двигаясь по оси Т, по временной оси, мы наблюдаем, как течёт время в пространственных координатах Авгуристана (а, может быть, города Глупова). Когда мы попадаем на пространственные оси, время как бы фиксируется. Можно даже почти точно указать: действие на оси У происходит в 1968 году — году советской интервенции в Чехословакию, хотя есть отсылы и в более раннее, и в более позднее время. Место действия — город Задвинск имеет своим прототипом Дубну (Московская область) с её Объединённым институтом ядерных исследований.

"Мир Минковский" прямо упоминается в "Напутствии" (стр. 18).

ОСЬ Т.

Стр. 15. "Летим сквозь конус, через конус световой". Из теории относительности следует, что скорость света в природе является максимально возможной скоростью. Это обстоятельство в четырёхмерном мире Минковского формально изображается так: все события в этом мире (напомним — пространственно-временном) находятся внутри конуса, ось которого совпадает с осью времени, а угол раствора определяется величиной скорости света. Ни одно физическое событие не может иметь места вне этого конуса. Этот конус получил название "светового". Предложенный автором способ путешествия сквозь конус ничуть не хуже и не лучше "машин времени" любой иной конструкции. Сказано же нам: "Если важен ты, серьёзен — нет тебе со мною виз. Мы порою чушь сморозим — лучше сразу оторвись". Реальный физический мир расположен в конусе, насаженном на положительную часть оси времени, там, где время течёт в привычном направлении. Если же удастся проникнуть в симметричный конус, насаженный на отрицательную часть этой оси, то, как учит нас далее автор, "закончится законность связи следствий и причин. Там у них — обратный чин" (стр. 18).

Стр. 17. "Энергии бэвные" — очень большие энергии. Бэв — миллиард (биллион) электронвольт (единица измерения энергии частиц).

"Санины сальные". "Санин" — знаменитый в своё время эротический роман М.Арцыбашева (1970 г.).

Стр. 23. "Семилетний клич подъёма". Вероятно сейчас уже мало кто помнит, что в 1959–1965 гг. была у нас в первый и последний раз не пятилетка, а семилетка.

Стр. 29. "Разносили Россию разбеганьем галактик". Как известно, видимая часть Вселенной расширяется, галактики разбегаются друг от друга.

Стр. 33. "Revenons à nos moutons" (франц.). Вернёмся к нашим баранам.

Стр. 34. "А корову разрубили ради мяса-молока: зад два раза в день доили, ... а перед во щах варили". В 1971 г. Пётр Якир развивал перед Г.Копыловым и редактором этой книги идею решения мясной проблемы в СССР: ампутировать у всех дойных коров на мясо по одной задней ноге, заменив их деревянными протезами.

Стр. 35. "Кто-то множил в аккурат массу m на c^2 ". $E = mc^2$ — знаменитая формула А.Эйнштейна, связывающая массу m и энергию E (c — скорость света).

Стр. 36. "Лука Мудищев" — известная непристойная поэма Ивана Баркова.

"Но что-то случилось — р-п раскрошили". р-п переход (или электронно-дырочный переход) лежит в основе действия транзисторов, применяемых в счётных машинах.

Стр. 44. "Вожжи бы делать из этих вождей, лучше бы не было в мире вожжей!" Н.Тихонов писал примерно так же: "Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей".

Стр. 46. "А то мы как с кеннедею" — т.е. как с Дж.Ф.Кеннеди.

Стр. 48. Δt — обозначение промежутка времени.

Стр. 49. "Века просвещения в Потьмах". Станция Потьма в Мордовии была центром Дубравлага, где содержались политзаключённые.

SU_3 . Ну ведь не станет же яснее, если сказать, что это группа всех унитарных унимодулярных матриц 3-го порядка! Можно уткнуть нос и во что-нибудь иное, столь же сложное.

Стр. 53. Эпиграф переводится далее в тексте.

Стр. 55. Ω^- (читать: омега–минус) – элементарная частица, относящаяся к барионам. О её "распаде каскадом" см. стр. 84: "Ещё неловко, неумело, распалась первая Ω , и развалился на ходу π_0 –мезон, её продукт".

Стр. 56. "Бурбаки изучали они". Знаменитый курс математики, написанный группой французских ученых, взявших коллективный шуточный псевдоним "генерал Бурбаки".
 χ^2 – читать: хи–квадрат.

Стр. 68. "Мы ягломов засупоним". Известный советский математик Исаак Моисеевич Яглом (1924–1988) за участие в кампании писем протеста конца 60-х гг. был уволен из Московского областного пединститута, где он преподавал. Надолго было прекращено печатание его книг в Советском Союзе.

Стр. 73. "Десятком километров всяких там спиралей Бруно". На сей раз это не физический термин. Спираль Бруно – спираль из тонкой стальной проволоки с витками большого диаметра, входящая в систему ограждения лагерей. Заключённый, пытающийся бежать, запутывается в ней.

ОСЬ X.

Стр. 77. $K_2\pi$ – читать: ка–два-пи.

Стр. 83. "Жучкин лай звенит с небес". Ю.Гагарина тогда ещё не запустили, а только собачек Белку и Стрелку (см. стр. 34: "Жучку в небо запустили").

Стр. 84. "Зажёгся первый игнитрон" – вентиль в мощных ртутных выпрямителях.

Ω – читать: омега; π_0 –мезон – читать: пи–ноль–мезон. Обо всем этом см. примечание к стр. 55.

"Спец по спинам" – не по анатомии, а по величинам, характеризующим собственный момент количества движения частицы (spin).

ψ — читать: пси.

Стр. 89. "lie-industry" (англ.) — индустрия лжи.

Стр. 90. "Клеветан" — знаменитый радиодиктор Юрий Левитан, оглашавший все особо важные правительственные сообщения ("Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..").

Стр. 91. "Где та ослина челюсть, какой разгонят институт". Известно, что Самсон поражал филистимлян ослиной челюстью.

Стр. 93. "Белый шум сведён на нет". Белый шум — шум, равномерно распределённый по всему диапазону слышимых частот.

"Вчерне над Тиссой пока кропают договор". Перед вторжением советских войск в Чехословакию в 1968 г. в пограничном городе Чиерна-над-Тиссой состоялось совещание советских и чехословацких руководителей, закончившееся соглашением. Тем временем Советский Союз втайне уже готовился к интервенции и вёл переговоры о ней с другими государствами Варшавского пакта.

Стр. 94. "КПСС-овец Потьмы", "Держал Мордовию в аренде". См. примечание к стр. 49.

Стр. 95. "ШИЗО" — штрафной изолятор в лагере.

Стр. 96. "Крутой маршрут" Е.Гинзбург и "В круге первом" А.Солженицына в представлении не нуждаются.

Стр. 99. "Как x и p у электрона". Координата и импульс электрона (как впрочем и любой другой частицы) связаны так называемым соотношением неопределённости: чем точнее определяется положение частицы, тем менее точно определяется её импульс (и наоборот).

"Не хунвейбины, Люя прокляв". Во времена "культурной революции" в Китае Председатель КНР Лю Шаоци был предметом наибольшей ненависти хунвейбинов.

Стр. 100. "Перечень утверждённых докладов". Почти во всех названиях докладов обыгрываются двусмысленные выражения. Они означают не только то, о чём вы подумали, но и являются широко распространёнными физическими и математическими понятиями или

выражениями: "Неопределённость", "Вырождение высших уровней", "Теория ошибок", "Мнимые" величины, "Бесконечно малые", "Спонтанный распад", "Силовая функция", "Коллективные возбуждения", "Увеличение сечения", "Тормозные процессы", "Удвоение частоты", "Множественное рассеяние", "Коллективное возмущение", "Поляризация", "Внутреннее трение", "Преломление", "Резонанс". "Налог на обрезание" — см. статью Г.Копылова "Август 1972 г."

Стр. 106. "Сопромат" — сопротивление материалов.

Стр. 108. "Brainwashing" (англ.) — промывание мозгов.

"Как в Праге Палах, в Риге Рипс, как на Крещатике Макуха". Самосожжение Яна Палаха в Праге в знак протеста против советской оккупации не надо напоминать миру. Имена Рипса и Макухи, увы, забыты. 13 апреля 1969 г. студент-математик Илья Рипс совершил в Риге у обелиска Свободы попытку самосожжения, развернув предварительно плакат: "Свободу Чехословакии". Огонь успели погасить. И.Рипсу предъявили обвинение в "антисоветской агитации" и отправили в психбольницу. 5 декабря 1968 г. учитель Василий Емельянович Макуха совершил самосожжение в Киеве на Крещатике. Сгорая, он кричал: "Да здравствует свободная Украина!" В.Макуха скончался.

Стр. 110. "Дымшиц-самолётчик". Марк Дымшиц, лётчик, — один из участников группы, состоявшей преимущественно из евреев, намеревавшейся 15 июня 1970 г. захватить в Ленинграде самолёт с целью бегства в Израиль. Участник знаменитого "Ленинградского процесса", где перед судом предстало 11 человек.

"Подпольное "Вече" — самиздатский журнал конца 60-х — начала 70-х гг. русско-националистического направления, основанный Владимиром Осиповым.

ОСЬ Y.

Стр. 118. "Уиттекер с Ватсоном". Авторы распространённого в то время справочника по высшей математике.

Стр. 119. "Девчонки арзамасские". "Арзамас" — условное название секретного "почтового ящика", атомного центра, возглавлявшегося Ю.Харитоном. Был расположен в монастыре преп. Серафима Саровского.

Стр. 120. "Сотворять перпетуум". Perpetuum mobile, вечный двигатель.

Стр. 121. "Свечение Черенкова" — излучение, возникающее при движении в веществе заряженных частиц со скоростью, превышающей скорость света в этом веществе.

Стр. 125. "Константа γ " — постоянная тяготения в формуле закона всемирного тяготения Ньютона.

Стр. 126. ψ — читать: пси.

"Март месяц начался с бунтов". Март 1966 г. Только что, 10-14 февраля 1966 г., состоялся суд над А.Синявским и Ю.Даниэлем, породивший волну протестов и "подписанства", которая дала начало правозащитному (диссидентскому) движению.

Стр. 129. "Поля не пашем, а квантуем". Есть поля колхозные, но есть и физические: магнитное, гравитационное и т.д.

Стр. 132. "А мы ввели киралити — и оказалось правильно!" Теперь чаще говорят: киральность. Так называется у физиков несимметричность молекул. Если у предмета нет центра, оси или плоскости симметрии, то такой предмет называется киральным. Киральны перчатки, болты, винтовые лестницы. А вот шар, кегля или кубик — не киральны. Точно так же, как два "правши" или два левши могут пожать друг другу одинаковые руки, но им трудно пожать левой рукой правую руку другого, так и молекулы по разному взаимодействуют друг с другом в зависимости от их киральности. От этих самых рук и произошло слово "киральность": тут тот же корень, что и в слове "хиромантия".

Стр. 132. "Вооружась Лежандрами". Многочлены Лежандра, преобразование Лежандра широко применяются в математической физике.

Стр. 134. "Мир особый образует, как Челленджерово плато". Это уже не физический термин, к которым мы вроде бы начали привыкать, а из А.Конан-Дойля ("Затерянный мир").

"Eigenwert" (нем.) — внутренняя ценность.

Стр. 139. "Андрей — смогист". СМОГ — московское молодёжное объединение 60-х гг., которое расшифровывалось то как "Смелость, Мысль, Образ, Глубина", то так "Самое молодое общество гениев".

Стр. 140. "Рассказ Алёны". Прообразом событий в этой главке послужила знаменитая "демонстрация семи" на Красной площади 25 августа 1968 г. в знак протеста против оккупации Чехословакии. См. об этом также предисловие редактора.

Стр. 142. "Истина — в Римане". Римановы пространства — обобщающие пространства геометрий Евклида, Лобачевского и Римана, в малых областях которых приближённо имеет место евклидова геометрия. "Только гений Римана, одинокий и непостижимый, уже в середине прошлого века достиг нового понимания пространства, и это была концепция пространства, лишённого жёсткости, способность которого участвовать в физических явлениях была признана возможной" (А.Эйнштейн).

"Индефинитна" — неопределённа.

Стр. 144. Марри Гелл-Манн — американский физик, нобелевский лауреат, автор фундаментальных работ по систематике элементарных частиц.

"Люди мощности Кантора, где ж ваш алеф, друзья?"

Георг Кантор — знаменитый немецкий математик, известный своими работами в области теории множеств. Множество — это совокупность каких-либо объектов. Можно говорить о множестве граждан данного государства, множестве точек линии и т.д., и т.п. Количественной характеристикой множества является его мощность. Еврейской буквой алеф обозначается одно из важных понятий теории множеств.

Стр. 145. "Очередной позор. Не удержался от ругани". Главка написана под впечатлением от исключения А.Солженицына из Союза советских писателей.

Стр. 148. "Не врёт закон Ньютона ли при приближении к с?" Изя Вайсброт создал гравилёт, действующий на принципе антигравитации (немножко научной фантастики). Он думает, что закон

всемирного тяготения при приближении к скорости света с нарушается (и, возможно, он прав).

Стр. 149. "Письма в ЖЭТФ" – "Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики" (издание АН СССР).

gμν – читать: же-мю-ню.

Стр. 152. "Я ... не страдал, что этот план давал АВОСТ блистательным трудам". АВОСТ – АВАрийный ОСТанов (именно так, извините, говорят инженеры-компьютерщики).

Стр. 154. Скрытые цитаты из М.Лермонтова и К.Чуковского, конечно, от вас не ускользнули.

ОСЬ Z.

Стр. 160. "Сон Попова" – известное стихотворение А.К.Толстого.

Стр. 162. "Noblesse oblige" (франц.) – благородство обязывает.

Стр. 164. "За далью даль" – поэма А.Твардовского, в то время – одно из первых произведений, где упоминались лагеря и репрессированные.

* * *

В наборе "Четырёхмерной поэмы" использована буква "ё", дабы лучше отразить её своеобразную, не всегда стандартную фонетику. В наборе остальных текстов буква "ё", как это принято в русском издательском деле, не используется.

ЕВГЕНИЙ СТРОМЫНКИН



ЕВГЕНИЙ СТРОМЫНКИН

— А почему оно красное?

— А потому, что зеленое!..

Из детской загадки

ГЛАВА ПЕРВАЯ. УТРО

*Сяду я за стол
И подумаю,
Как на свете жить
С такой суммою...
Кольцов*

1

”Мой дядя — адвокат известный,
Он огребает денег тьму,
И, право, было бы уместно
заехать нынче мне к нему.
Стипендия ой-ой далече,
а как же Новый год я встречу,
когда в кармане ни копейки?
Нет, нынче ж еду к дяде я...
Хоть ехать, правда, неохота, —
о чем болтать со стариком?
Он мне почти что незнаком.
Но Новый год?.. А, еду, что там!
Порасспрошу, порассмешу,
и, кстати, денег попрошу”.

2

Наметив план мероприятий,
на глаз прикинув их объем,
Стромынкин Женя, мой приятель,
решил уверенно: ”Пробьем!”
Уже успел он, вставши рано,
обрыскать все карманы рьяно,
но кроме серого платка,
от авторучки ободка,
да крошек — завтраков остатка, —

да горстки радиочастей —
верньеров, клемм и емкостей, —
да двух копеек за подкладкой,
да пропуска в студгородок
в них ничего найти не смог.

3

По перечню читатель тотчас
поймет, что, волею судеб,
Евгений — обойдусь без отчеств —
из общежития студент.
Других же сведений покуда
о нем я разглашать не буду:
нет времени. Стромьинский люд
проснулся. Жители снуют
по полутемным коридорам.
Здесь в умывалку держат путь
ребята, волосату грудь
открыв нелюбопытным взорам.
Там скромный девичий халат
скользит с ведром, потупив взгляд.

4

Кто тащит булок половинки,
кто мчится со сковородой
из кухни... Ба, а вон Стромьинкин,
знакомый наш. Решив едой —
едой обильной и горячей —
заесть с деньгами неудачу,
из кубовой он налегке
несется с чайником в руке.
И, сев за стол, единым духом —
не маслом, не яиц пятком —
обыкновенным кипятком
с обыкновенною краюхой
он утолил свой аппетит —
и вниз по лестнице летит...

5

Но нет трамвая очень долго...
 Герой афиши стал смотреть,
 а я, чтоб не стоять без толку,
 хочу чего-нибудь воспеть.
 Ведь я поэт. А все поэты
 поют высокие предметы,
 глаза вздымая к небесам.
 И если б Маяковский сам
 увидел, чудом воскрешенный,
 как сонмы членов ССП
 гнут осанну нараспев,
 то он воскликнул бы, взбешенный:
 "Нет, лучше, честью дорожа,
 уйти в зверинец, в сторожа!"

6

Где, где вы, бодрые задиры,
 где те, о ком мечтал поэт,
 кто б нашу совесть бередили,
 чей облик чист, в ком страху нет?!
 Куда исчезли юморески
 с неожиданной рифмой, слогом резким?
 Где гнева речь, гражданский пыл?
 По пустякам пошел в распыл!
 Никто теперь "Клопов" не давит,
 чинушам "Баней" не грозит,
 мещан никто уж не разит —
 поэты нынче только славят,
 и словно потоки поток
 у них сочится между строк.

7

И, взглядом мысленным окинув
 журналы, тянешься зевнуть:
 от баснописцев до акынов —
 все воспевают что-нибудь:
 дубняк, из желудя проросший,
 и выведенный скот хороший,
 борьбу за мир, победный блок,
 приоритет наш в ковке блох...

Все сплошь поют!.. А я чем хуже?
В холодном этом ремесле
я ль не смогу оставить след?!
Предлог какой-нибудь лишь нужен..
Да вот! Чем это не предлог —
я воспою... хоть кипятком!

8

Я восхищенными стихами
хочу воспеть тебя давно,
рассматриваемая нами
в момент кипенья H_2O ,
остаток от поры военной,
студента спутник неизменный,
отрада долгих вечеров
для тех, чей аппетит здоров,
а утолить — не по карману.
Твой дух, твой жар всегда создаст
недостающий нам балласт
для погружения в нирвану.
И в честь тебя в кратчайший срок
создам я оду в сотню строк.

9

— О ты, в титане взятый с бою,
прошедший сквозь огонь и дым,
с температурою любовою,
а также с запахом любим, —
уходишь ты во тьму преданий.
Сейчас в означенном титане
кран поверни — и без труда
идет кипящая вода!
Уж мне не слышать: "Был да вышел",
встав за тобою в длинный хвост,
и в этом — несомненный рост
благо... Пардон, я не расслышал:
трамвай подходит дребезжа.
Вот и Стромынкин побежал..

Чтоб штрафа не схватить, украдкой,
по сторонам бросая взгляд,
в вагон с передней он площадки
вошел и двинулся назад,
к кондуктору. А там к соседу
он запустил глаза в газету
и едет важно, как король, —
поди, поймай его, контроль!
А, впрочем, если б был замечен
он в том, что не купил билет, —
опасности большой тут нет:
платить-то все равно ведь нечем!
Езжай, Евгений, в добрый час...
Я ж о тебе начну рассказ.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕРОЙ

*Я не был вундеркиндом, но
я буду им!*

Мика Бонгард

1

Он родился у вод днепровских,
и, стало быть, от юных дней
не теснота дворов московских,
а тень садов и ширь полей
его привычно окружала.
От пристани и до вокзала
весь город был, что сад сплошной.
Бывало, он тонул весной
в густейшем запахе акаций,
и зелени ажур сквозной
цветов скрывался белизной,
и от реки несло прохладцей,
и месяц, молод, но рогат,
блестел на небе, как агат.

2

Здесь мчалось детство синей птицей
на сверхвысоких скоростях...
Ах, видно, так вся жизнь промчится,
в ушах, как ветер, просвистя.
Ты и не жил, ты только начал:
послали хлеб купить "без сдачи",
с друзьями в чехарду сыграл,
у деда табаку украл,
в реке без спроса искупался,
штаны порвались на заду
(в соседском побывал саду),
с девчонкой во дворе подрался,
расшиб хозяйкино стекло, —
глядишь, и детство протекло.

3

Бывает так в разгаре прений:
едва оратор известил
о свете мартовских решений

и свору цифр на зал пустил,
едва лишь новые задачи
он в этом свете ставить начал,
едва сморкнулся он в платок,
едва отпил воды глоток,
едва лишь красноречья пламень
в нем вдохновение зажгло, —
ан глядь, и время истекло,
шумит собрание: "Регламент!" —
и председатель — динь-динь-дин —
колотит пробкой о графин.

4

Евгений в школе рвался к книгам
и в чаще книжной заплутал:
охотился, глотал их мигом,
вновь доставал и вновь глотал.
Он целиком прочел, наверно,
Майн-Рида, Купера, Жюль Верна,
а как-то раз им был добыт
старик "Всемирный следопыт".
"Хоттабыч" и "Гиперболоид",
"Вратарь" и Саня-капитан
за ним ходили по пятам.
А вырос — стал читать "Былое
и думы", "Кожухов Андрей"
и Джона Рида "10 дней..."

5

Но все ж и им пришла отставка.
Стал другом Жениным навек
роман про Бендера Остапа,
гроза всех нравственных калек,
всех проявлений идиотства
(не зря же он не издается).
Затем, не оставляя книг,
в радиоклуб герой проник,
наукой заниматься начал,
жег пробки, схемы собирал,
сбрав, ловил на супера
из-за границы передачу,
где марш погромный громыхал
под вопли "Хайль" из тысяч хайл.

6

Ему лишь было интересно...
 Он, как и мы, не понимал...
 ...И вот он грянул, день воскресный,
 все изменил, все поломал...
 В ожесточении атаки
 рванулись на просторы танки.
 Что блеск классических штыков
 и пена из-под мундштуков
 пред этой оргией металла?!
 И начался людей исход,
 машины двинулись и скот,
 и Украина запылала,
 и погибали средь огней
 мечты и счастье мирных дней.

7

Сейчас, когда он кинет взглядом
 на жизнь военных этих лет,
 то только свой энтузиазм,
 восторг салютов, гром побед
 он вспоминает. А невзгоды,
 испытанные в эти годы,
 исчезли в памяти его:
 у ней уж свойство таково.
 Забыты горечь отступления,
 хлеб, взятый за три дня вперед,
 в чернилках школьных синий лед,
 очередей оцепенение —
 весь тяжкий ежедневный быт
 давно и накрепко забыт.

8

Но и среди военных тягот,
 которым не было числа,
 в нем все осознаннее тяга
 к науке физике росла,
 к ее раздольным горизонтам.
 Он бегал в школу, бредил фронтом,
 омлет жевал, жал в поле хлеб,
 а замысел все креп и креп.

И вот, медалью награжденный,
стремясь к заветной высоте,
он подал в университет,
уселся в поезд, и вагоны,
послушны зычному свистку,
пошли в Москву, в Москву, в Москву...

9

Вы, вероятно, их встречали —
попавших в первый раз в Москву?
Как неловки они вначале,
что за смятение в их мозгу!
Ведь все тут ново, чуждо, странно:
метро, ночные рестораны,
реклам неоновых размах,
афиш засилье на стенах,
таблички "Слабость половая",
лотошниц у метро галдеж,
машины, что в жару и дождь
асфальт водою поливают,
толпа у театральных касс...
Едва приехав, в тот же час

10

туда, где Кремль, туда, где предки,
они в метро в восторге мчат,
на куполов кремлевских репки
глазеют, мнутя и молчат,
в патриотизме странном млея.
Затем плетутся в галерею,
в замоскворецкие места,
глядеть "Явление Христа".
Тоскливо смотрят на иконы,
вздыхают на Куинджи "Ночь",
затем шарахаются прочь
от лживописцев современных
и возвращаются назад,
где Репин и Крамской висят.

11

С пушком над пухлыми губами
и пиджаком не по плечам,
и с сундучком, и с сапогами —
смешон был Женя москвичам.
Но был в нем тот задор щенячий,
тот неизбывный пыл горячий,
и то бесстрашие ума,
книг не вобравшего тома,
что отличает нас в 17...
...всех меряет на свой аршин,
с колючей прямою души,
не научившейся сгибаться, —
таков Евгения портрет,
каким он был... тому пять лет.

12

Он в мир открывшийся широкий,
где новой жизни бьется пульс,
где "лекции", а не "уроки",
где говорят не "класс", а "курс",
влетел стремглав, как муха в сахар.
С надеждой пополам со страхом,
в желании великих дел
на мир науки он глядел.
В наивность по уши окутан,
в ученых видел идеал
и их от смертных отделял.
Доцент был для него, что Ньютон,
профессор — Майкл Фарадей,
декан — из сказки Берендей.

13

Сперва на посещение лекций
он массу времени терял, —
на чтение разных Папалексей
да на текущий матерьял:
конспекты, практикум, задачи.
Но после первой неудачи —
двух троек в сессию: "Плевать!" —
решил он и закрыл тетрадь,

и перестал в году трудиться.
"Что я, — подумал он, — пижон?"
Своим идейным багажом
багаж студенческих традиций
признав, стал жить, как я да вы —
не утруждая головы.

14

Итак, он приобрел сноровку,
как жить бездумно, день за днем.
Умел пустить (на газировку)
последний гривенник ребром.
Зачет — что письменно, что устно —
умел он сдать весьма искусно.
Умел за шахматной доской
сидеть на окнах день-деньской.
А вечером, футбольным полем
сменив рябь шахматных полей,
Евгений за "Спартак" болел,
и воплем: "Сделай штуку, Коля!"
вдруг оглашался стадион —
истощный, страстный сердца стон.

15

Был парнем компанейским Женя.
В мероприятиях групповых
(слыхали ж это выражение?)
участие принимать привык.
Решили, скажем, коллективом
в кино с "Основ" сбежать ретиво
или в Сокольники на кросс —
о Жене не вставал вопрос.
На комсомольские собрания
он тоже честно приходил,
садился с книжкой позади
и только при голосовании
глаза взводил. "За большинство!" —
такой был принцип у него.

На вечерах умел картинно
 приличий перейти порог.
 "Дубину" знал и "Бригантину",
 и "Баба сеяла горох".
 На танцах, правда, с грустным видом
 стоял у стен кариатидом:
 хоть танцевать он и умел,
 но с девушками был несмел
 и им предпочитал мужскую
 вольноречивую семью,
 где душу отвести свою
 в свою тарелку мог — толкуя,
 волнуясь, мыслями горя
 и издеваясь, и остря.

Он не любил беседы пресной:
 "Без перцу пухнет голова!
 Как корень в области комплексной
 двузначны быть должны слова", —
 так он говаривал нередко.
 В груди его дымился едко
 остроут безнравственных очаг.
 В его речах, в его очах
 сверкал огонь тот дерзкой мыслью.
 Смешное видеть он любил;
 на этом глаз себе набил
 (покамест в переносном смысле),
 шутил всегда, шутил везде,
 и при удачах, и в беде.

Шутник уже с солидным стажем,
 Евгений не щадил седин,
 был непочтителен ко старшим,
 легко о них рядил-судил.
 С ученым, произвольно взятым,
 себя держал он панибратом.
 Был запросто к Ландау вхож,
 ХХ не ставил ни во грош —

был с миром на ноге семейной.
(Такой подход отнюдь не нов.
Я был при том, когда Леднев
льва одряхлевшего — Эйнштейна, —
собрав профессоров кагал,
ногой бестрепетной лягал).

19

Но пусть бы хаял он ученых —
их учат все, кому не лень, —
но не жалел он красок черных
на вещи ясные как день.
С неописуемым нахальством
неутвержденные начальством
он мысли в голове носил
и даже вслух произносил.
В потемках мысль его плутала.
Он, ко всеобщему вреду,
тем самым шел на поводу
у мирового капитала.
Знать, факультетский комсомол
работы средь него не вел.

20

Он утверждал, к примеру, будто
нет демократии в быту,
что-де на мысль надеты путы,
мол много лишних на борту,
мол спину гнут и ткач, и грузчик,
а в министерствах — толпы жрущих,
в чьих плотоядных черепах
застыла косность черепах.
Бранил он дикость миллионов,
культуры нашей нищету
(меж тем, у нас ведь на счету
и Шостакович, и Леонов).
И даже смел он говорить...
Но нет, не смею повторить!

Идей набравшись гениальных,
с ученым видом знатока
"Все это, право, тривиально", —
любил он бросить свысока.
Чтоб не сказали: "Сам банален!",
журналы "Nature" и "Annalen"
случалось, он порой листал.
Знал про неборновский кристалл,
про борновское приближение,
про спиноры, про вириал,
и кто-то даже уверял,
что и язык китайский Женья
освоил бы за полчаса,
когда б сдавать зачет взялся.

Читал герой теперь немного,
но не набор газетных фраз,
навязших истин строй убогий.
Им был изучен едкий Франс,
бессмертный Хульо Хуренито,
все тот же Бендер именитый
и разрушительный Толстой,
и Жюль Ренара слог простой,
Бальзак, гипнотизер Андреев,
затем флоберовский Бувар
и "Модных терминов словарь"
с "Портретом Дориана Грея" —
вот свод его любимых книг.
Чуть не молился он на них.

Он поутру богам здоровья
чуть успевал поклоны класть
и, обогранный свежей кровью,
спешил на лекцию попасть.
Благой совет друзьям подавши —
засесть от лектора подальше, —
он лез наверх, как на Казбек,
и между делом вел конспект.

От дел, бывало ж, нет отбою,
и он их все встречал лицом.
Он по натуре был борцом,
вся жизнь его была борьбою:
с утра — с мечтами о съестном,
потом, когда поест, — со сном.

24

Звенел звонок, и он с разбега,
бросая девственный конспект,
слетал со своего Казбека,
чтоб все дела решить успеть.
То развлекался свежей сплетней,
то о страде туристской летней
с друзьями громко толковал,
то лектора атаковал,
Ландау клялся и Юкавой,
а то нырял, как в водоем,
чтоб скуку одолеть вдвоем,
во взгляд девический лукавый
и плавал целый перерыв,
запасы шуток перерыв.

25

Полдня так быстро пролетали,
еще в столовой два часа.
Глядишь — герой в углу читальни
опять учебой занялся.
Вот толстых книг большая стопка.
Он к верхней потянулся робко,
открыл, листнул, перелистал,
захлопнул, новую достал —
и формул меченое стадо
погнал рассеянной рукой
лениво, строчка за строкой...
А после шел на балюстраду
делить досуг своих коллег,
готовить на концерт набег.

Он прежде бегал по музеям,
 в консерватории зевал,
 был в клубе главным ротозеем,
 певцов в театре вызывал.
 Но приобрел багаж культурный —
 и театральные котурны,
 рулады оперных певцов
 забросил он в конце концов
 и охладел совсем к балету;
 зато, своим друзьям подстать,
 он научился проникать
 в Консерваторью без билета.
 Недавно — этой вот зимой —
 мы с ним там были на седьмой.

В кишащем, помню, вестибюле
 собрали мы свою семью,
 построились свиньей, сомкнули
 ряды и — дружно в толчею.
 Махнул контролю в давке жаркой
 единственную контрамарку
 один из нас... Ура! Он там!
 За ним мы рвемся по пятам,
 сейчас рогатки будут смяты!..
 Еще один... еще нажим..
 Прорыв!.. И мы наверх бежим,
 друзья с физфака и с мехмата.
 И нас, несущихся гурьбой,
 встречает скрипок разнобой...

Упомянул я о мехмате.
 И будет, верно, в самый раз
 сказать сейчас о той печати,
 что факультет кладет на нас.
 Из средних школ сначала, вроде,
 мы все похожими приходим,
 а кончим университет —
 и никакого сходства нет.

Юрист в мечтах — давно Вышинский
и только ждет команды "Взы!"
Филолог выучил азы
ума натугой исполинской.
Экономиста мозг разбух
с цитат да с цифр, как гроссбух.

29

Кто там склоняется к риторгам?
То рекордсмен-легкоатлет.
Стал калачом историк тертым
по улучшенью давних лет.
Концертных залов завсегдатай
давно уж стал студент мехмата;
академичен и лохмат
кончает он родной мехмат.
Географ стал в ряды туристов,
и спайкой дружною берет
геологический народ;
философ ходит, словно пристав:
все инспектирует умы...
— Но каковы же сами мы?

30

— А ну-ка, автор, нас порадуй!
И кинул я на тех свой взгляд,
чье сердце — емкостью с фараду,
в ком — индуктивный мыслей склад,—
и сразу — к оде разогнался,
подстегнут мощью резонанса,
который в наших контурах
звучит, невежеству во страх!
Мы и работаем с азартом,
и любим смех, и бурный спорт,
о микромире буйный спор,
Гуно не путаем с Моцартом,
явь отличаем от химер,
иным коллегам не в пример.

ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ ВАРИАНТЫ
ПРИВЕДЕМ СНАЧАЛА САМЫЙ СТАРЫЙ ИЗ НИХ:

31

Друзья, позволю я признание:
как свет, как смех, как дом родной
люблю угрюмое создание
Столетова на Моховой.
Побудешь с ним денек в разлуке —
и подыхаешь ты от скуки,
и, нацепив дырявый плед,
спешишь быстрее на факультет:
у расписанья друга встретить,
услышать свежий анекдот,
поток рискованных остро
услышав, в унисон ответить,
у стенгазеты сообща
ругать редактора¹ сплеча:

32

В передовых-де мало проку,
их гладкий ход от мыслей чист.
Де шутки скучны, как Широков,
и плоски, как газетный лист.
Де и заметки в ней не метки,
де и ошибки в ней не редки...
Но все ж с другими не сравнить:
есть что хвалить, есть что бранить —
не то что младшие собратья² —
сплошное серое пятно.
Будь я деканом, их давно
распорядился бы содрать я,
на всю бездарную печать
наклав молчания печать...

¹ Чернетского

² Курсовые стенгазеты

- Нет, без газет все ж было б скучно.
- К тому ж ты, друг, не Соколов!..
- Тсс! Вот он сам, собственноручно
прошел, шагая тяжело,
как забеременевший страус...
И рядом, не отстать стараясь,
надев подобострастный вид,
какой-то аспирант юлит...
Промчал Самарский метеором...
Прошел веселый Гвоздодер...
Вон Фридман, старый мухомор,
идейных битв боец матерый...
Проходит Ржевкин, худ и тих...
— Куда их гонят? Сколько их?

- Ах да! Ведь семинар сегодня
по философии! — Вперед!
- Постой, а пустят? — Вход свободный!
- Вперед!.. Народ за нами прет.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ:

Друзья, позволю я признание:
как свет, как смех, как дом родной,
люблю угрюмое созданье
Столетова на Моховой.
И мне сравнить его охота
с орлом, присевшим перед взлетом,
который взмахом мощных крыл
своих орлят от бурь прикрыл.
И башней — гордою главою —
обозревает небосвод:
куда б направить свой полет,
куда б воспрянуть над Москвою.
И кручи Воробьевых гор
орлиный привлекают взор.

Прощаюсь я с пятью годами,
и мне придется улететь.
Но что ж я так неблагодарен?
Ведь это ты, мой факультет,
мне указал дорогу к звездам.
Ты как отец. Меня ты создал,
дал мир идей, дал слов металл,
дал мне друзей, врагов мне дал,
к науке утвердил доверье,
к сплетению счастья и тревог, —
а я в ответ коплю плевков,
а я готовлюсь хлопнуть дверью.
Откуда ж горечь-то во мне,
что так и просится вовне?

Чем больше ждешь, чем веришь крепче,
тем ярче вскрывшийся обман;
тем горше с истиною встреча,
чем гуще был любви туман;
кто жить не хочет травоядно,
тот не прощает солнцу пятна;
кто сам не изолгался сплошь,
простить не смеет другу ложь.
Прошу ль тебе я, alma mater,
позор паденья твоего,
имен бездарных торжество,
идейной стирки ароматы
и улюлюканье расправ
над тем, кто честен, смел и прав!

Я, может, зря тебя порочу,
взвожу я доблесть в криминал?..
Тогда пойди, взгляни воочью
на философский семинар...

Идут научные магнаты,
как гномы, сгорблены, мохнаты,
творя приветствий ритуал.

Подобно стынувшим планетам
сияя отраженным светом,
идет толпою их вассал.
Гербами в ромбиках сверкая,
специалистов юных рать
идет скандала поджидать.
Идет и поросль молодая,
наш брат студент. Мы смотрим вниз,
где все светила собрались.

35

А...в, тензора создатель,
делец, а с виду арлекин.
Леднев, столпов ниспровергатель,
30-летний вундеркинд.
ДД, знаток интерпретаций
явлений с помощью трех пальцев.
Вот Власов, факультетский лев,
фанатик ярый буквы f.
С ним рядом Саввич, спорщик ярый,
дурак Н...в, седой Ильин,
а вот и памятника сын,
встав пред затихшим семинаром,
взмывает вороха старья,
академически остря.

36

В те дни, когда на бюст у двери
садился первый пыли слой,
науки нашей Гулливеры
сюда являлись. Здесь порой
Столетов выступал блестящий,
и Тимирязев — настоящий! —
его послушать приходил.
Вавилов кванты здесь ловил.
И здесь встречали встречей жаркой
Ленгмюра, Бора, Жолио,
из наших тоже кой-кого:
здесь выступал отважный Марков,
здесь Хайкин курс махистский свой
прочел. Здесь и сейчас порой

сечет рукою воздух Власов,
 Семенченко нам уши рвет,
 и, речь перемежая плясом,
 свой Млодзеевский курс ведет.
 Жуя мочалу, лепет детский
 здесь издает Я.П.Терлецкий,
 и Соколов ввергает в сон
 тьмой формул, и добряк Самсон
 кием колотит по экрану,
 и Тихонов, ученый кот,
 мурлычет, жизни всем дает
 здесь Рабинович неустанный,
 и Иваненко—эрудит
 по часу к ряду ерундит...

Бывает, здесь идет экзамен —
 и так легко ответ слизать,
 глядя невинными глазами
 экзаменатору в глаза.
 Панурги наши, впрочем, бойки,
 неустомимо ставят тройки,
 и я — со вздохом сознаюсь —
 за лучшим баллом не гонюсь.
 Мне мой покой и мил и дорог,
 я не прельщаюсь суетой,
 как ты, отличник рядовой,
 ты, жалкий раб своих пятерок!
 Пять лет страдай, учи, зубри,
 а в госэкзамен схватишь три...

Мы отвлеклись в своей прогулке.
 А в это время семинар
 не клал на свой язык охулки,
 грозя махизма семенам,
 идеализма пни корчуя...
 А впрочем, хватит! Не хочу я
 касаться липких этих тем...
 Скажу лишь вот что: тьму проблем

здесь освещали в словопрениях:
что глуп Эйнштейн, вредитель — Бор,
а физик — не макроприбор,
а социальное явление;
и, осветив, пошли домой.
А тьма так и осталась тьмой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВЕЧЕРИНКА

*8 му да 8 му ,
а о водке ни полслова.
Денис Давыдов.*

*Я был свидетель умиленный
твоих студенческих забав.
Пушкин*

1

Куда ж пропал с утра Стромынкин?
Он счастье сам свое ковал:
давно уж с дядей без запинки
он о родне потолковал;
и переход он сделал тонкий
с болезни дядиной печенки
на свой катарр, на свой бюджет —
что праздник вот, а денег нет;
и, круглой суммою снабженный,
давно вернулся он домой
и в бакалее угловой
давно распорядился оной;
пиджак поглажен, сам побрит —
на вечеринку он спешит.

2

Идти недолго. Он у цели.
Все, видно, собрались уже:
за дверью голоса ревели,
ревели песню о "Морже".
Но временами гасло пенье:
под патефонное сипенье
усердных ног нестройный шарк
порой все звуки заглушал.
Герой вошел и грудь расправил:
— Приветик! Можно не вставать!
Ему в ответ: — Оштрафовать!
— Критиковать! — Он ждать заставил!
— Налей большой, пусть пьет до дна!
— Да он еще принес вина!

3

— Как жизнь, Иринка! Здравствуй, Тоня!
 И жмет он, протерев очки,
 девчат горячие ладони,
 ребятам раздает тычки.
 Обводит он тревожным взглядом
 бутылки, вставшие парадом
 меж винегретов на столе.
 Считает. На его челе
 мелькнуло удовлетворенье,
 как свет из тучи грозовой.
 Вступил он в общий разговор,
 то в танго пустится, то в пенье.
 Смешит других — смеется сам.
 И — то и дело — взор к часам.

4

Близки заветные минуты.
 Сигнал за стол садиться дан,
 и мы кой-как к нему приткнуты:
 торчком поставлен чемодан,
 сидим на койке, на кушетке,
 плечом к плечу, сосед к соседке.
 Глотнув внезапную слюну,
 глядим на сыр, на ветчину.
 И пробок трепетную мякоть
 спешит пронзить витой металл,
 и об алкающий бокал
 бутылка начинает звякать,
 и, вторя ей, куранты бьют,
 и все в волнении встают.

5

Вдруг тихо... Лишь одни стаканы...
 Куранты бьют последний раз, —
 и властный голос Левитана
 поздравил с Новым годом нас.
 ..Старухе, влезшей на полати,
 невесте в подвенечном платье,
 бутузу, маленьким шажком
 под стол забредшему пешком,

двукратному лауреату,
дрожащим нищим на мосту
и постовому на посту,
и хулигану, и солдату,
что в самоволку убежал, —
всем диктор счастья пожелал.

6

Вот здесь и грянул тост за тостом,
плотина словно прорвалась:
за счастье, за девчат и просто
за то, чтоб не в последний раз.
Подспорье в дружеской беседе,
с тарелок исчезают сельди,
сыр, хлеб, колбасы, винегрет...
И вот уж, хмелем подогрет,
заводит разговор интимный
сосед с соседкою своей.
На вечеринке все шумней.
Гремит "Моржа" подобно гимну...
— На бал! — вдруг кто-то закричал,
и все —
горохом —
в клуб, на бал!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БАЛ

*Родит же, черт возьми, родит
земля подобных Афродит.*

1

А на балу-то духотища —
аж воздух сиз под потолком.
Зал тесен, а народу тыща;
всем жарко, каждый под хмельком.
Кто ни войдет, тот так и ахнет:
"Как, братцы, шибко Русью пахнет!"
Толпа стоит сплошной стеной.
Мотив раздастся разбитной
из радиолей хриплой пасти, —
заколыхается стена,
придет в движение она,
потом рассыплется на части;
и никого здесь не дивит
ни спертый дух, ни мрачный вид.

2

.....
.....

3

...Среди толпы стояла елка
вся в электрических цепях,
в хлопушках, вате, звезд осколках,
как хвост собачий, вся в репьях —
источник воздуха лесного,
торжеств рождественских основа.
Кругом ходили сторожа,
от разграбления сторожа.
А на орбитах отдаленных
вокруг центрального ядра
вращались пары до утра,
мелькая, словно электроны,
своими спинами двумя
и каблуками в такт гремя.

4

Как электроны, мчались пары
 меж амплитудных облаков.
 Летели девушки и парни
 и не жалели каблуков.
 В подвальном клубе на Стромынке
 студент веселые поминки
 по году прошлому справлял.
 И я там был, и я гулял,
 гулял, не мудрствуя лукаво.
 То в одиночку, сам с собой,
 то в паре был, а то гурьбой, —
 куда веселье увлекало,
 туда и я, как колобок,
 катился, прост и неглубок.

5

Стоял там молодой ученый —
 сейчас я, кажется, сострою, —
 задумчивый и погруженный
 в себя (сквозь левую ноздрю).
 Вся в шпурах, вся в функционалах,
 вся сплошь из бесконечно малых —
 такую жизнь пред ним текла,
 без человеческого тепла
 и дум неясного броженья.
 Он цифры знал, не зная слов,
 он не мечтал, не видел снов
 и был лишен воображенья —
 сухарь от темени до пят,
 в ком разум жив, а чувства спят.

6

Он открывал природы тайны,
 в глаза природы не выдав.
 Брал интегралы моментально,
 все объяснить спешил стремглав.
 Он был упрямый и отважный
 сторонник физики бумажной.
 Простим ему подобный грех!
 С чего ему быть лучше всех?

Сейчас у нас не век атомный,
не век ракет, не век пластмасс —
бумажный век царит у нас.
В бумажном паводке огромном
захлебывается с тоской
воспрявший было род людской.

7

Сюда пришел перед защитой
дипломной занятой студент, —
не раз в зачетных битвах битый,
небитых двух эквивалент.
Перед завкафедрой мастистым,
перед профессорским синклитом,
скоплением лысин и морщин,
забывших звание мужчин,
перед усердным оппонентом,
припасшим яду для атак,
да пред зевающей в кулак
своею бражкой — студентом
он должен был дней через пять
свою работу защищать.

8

В его тетради, в томной неге,
лежал, согнувшись, интеграл.
Все буквы, с α до ω ,
туда он, изловчась, загнал
Еврейских, греческих, французских —
всех букв хватало, кроме русских.
Лишь кой-где было вкраплено
"итак", "имеем", "пусть" и "но".
Но этих формул длинной лентой
он пренебрег под Новый год.
Его в молекул хоровод,
соединенных двухвалентно,
в движений тепловых хаос —
в толпу танцоров вальс занес.

И, встав передохнуть у стенки,
 о смысле жизни старый спор
 вели подружки, две студентки:
 "...Скажи, ну до каких же пор!..
 Ведь все студенты нашей группы
 пристойны, холодны, как трупы.
 В нас видят лишь своих друзей.
 Им ничего, а ты старей
 да блекни, да не спи ночами.
 Болит от книжек голова,
 а мне ведь скоро 22,
 уже полжизни за плечами,
 а что я видела пока?..
 Учиться — долго, жизнь — кратка".

Подруга утешала мрачно:
 "Женитьба тоже не сладка.
 Пусть даже любишь ты удачно, —
 но если видишь, что близка
 к своим стремлений завершенью,
 что счастья стала ты мишенью,
 то все равно — беги бегом,
 сопротивляйся, как мегом.
 Не тяготей к путям избитым.
 Подумай над своей судьбой
 и лучше будь сама собой.
 Не подмени науку бытом.
 Представь семейный свой уклад,
 когда в повестке дня стоят

не измерение альбедо,
 не замещенная консоль,
 а варка кофе и обеда
 и стирка ... этих их ... кальсон.
 Глядишь — а курс наук зачеркнут,
 и вместо сессии зачетной
 семейной жизни тянешь гуж.
 А уж к тому ж жена и муж

по разным комнатам ютятся;
встречаются лишь днем; двоим
уединиться негде им;
а дети как на грех рождаются,
напоминая всем спроста
факт появления Христа”.

12

...Они дружили дружбой давней,
а были разные совсем.
Что дружба? Если есть нужда в ней,
то подойдет любой сосед.
Одна — науку грызть устала;
она того... она мечтала
со счастьем вытащить билет
и жить без мыслей и без бед.
А у другой был голос грубый,
спортсменки стать, цветущий вид.
И головой не инвалид.
Но инвалидом пятой группы
прозвать пришлось ее друзьям, —
в анкете был у ней изъян.

13

Я знаю, *verbum est argentum*,
но так и рвется изо рта
рассказ о том, как по анкетам
людей мы делим на сорта.
Дурак я вырос ли, невежда ль,
но если за границей не жил
и нет там у меня друзей,
и по рождению не еврей,
не исключался, не судился
ни я, ни дети, ни жена,
и тетка прав не лишена,
и брат в плену не находился, —
тогда гожусь я в первый сорт,
могу достичь любых высот.

Она ж, предмет второго сорта,
 знать не желала свой шесток.
 Не занялась продажей сока
 и не пошла служить в Мосторг —
 что для людей с таким недугом
 слывет законным жизни кругом, —
 а шла в науку. Скольких сил
 и выдержки тот путь просил!
 Мир, отведенный ей, был тесен,
 как гетто в Средние века, —
 без слов родного языка,
 без книг, без музыки, без песен, —
 и отверженьем заклеямен
 в свободном обществе племен.

...Брюнет в мазурке вел дивчину..
 Его отец был чаевод
 и слал на пропитанье сыну
 две тыщи в месяц, двадцать — в год.
 А сын, развратник и бездельник,
 по целым дням сидел без денег,
 тоску сгоняя коньяком.
 Но в положении таком
 он не терял минут напрасных:
 про наше славное житье
 писал статью он за статьей,
 чтоб их в газету дать на праздник.
 В них он писал, что без забот
 живет студенческий народ,

что лишь на сцене оперетты
 студентов нищих и видать,
 что мыслью мы одной согреты —
 все силы Родине отдать,
 что мы стремимся к знаниям прочным..
 ...Он фраз таких полки построчно
 выстраивал, как генерал,
 с равнением на гонорар.

Но в развлеченческом масштабе
был он умельцем хоть куда:
прост, обаятелен всегда,
глазами жгуч, душой похабен;
блистал на пьянках тамадой,
как бог ахейцев молодой...

17

Литературный критик громко
в углу писателей хулил.
Он слыл Белинского потомком,
хотя на самом деле был
ценителем макулатуры,
душителем литературы
и осквернителем могил.
Он литры перевел чернил
на то, что критикой обычно
зовут (а век назад звалось
прямым названием — "донос").
И в книгах он искал привычно
не правды жизни, а идей;
стахановцев, а не людей.

18

Такой подход влиял на многих.
...В тот год был сильный недород;
сдав госпоставки и налоги,
колхозы чахли. Гибнул скот,
крестьяне в город разбегались...
...Писатели ж соревновались
в том, кто опишет горячей
жизнь эскимосов и чукчей,
культуру их, пристрастие к школам,
их косторезов ремесло...
Да, чукчам больше повезло,
чем вымершим молдавским селам,
грузинским вымерзшим садам,
вокруг Полтавы хуторам,

чем нам с тобой везет, мой друже:
ведь нас, по книжкам судя, нет!
Хоть раз ты в книге обнаружил
таких, как ты да твой сосед?
Отнюдь! Изящная словесность
нас обрекла на неизвестность:
раз мы не передовики —
не стоим мы ее руки.
Она стремится к идеалам,
и возбудить ее восторг
способен разве лишь парторг.
Куда уж нам, обычным малым!
А дать по роже подлецу
ей, право, просто не к лицу.

Представь далекого потомка, —
что в книгах он о нас прочтет?
Узнает правду ли о том, как
любой из нас сейчас живет,
как ест, болеет, шутит, плачет?
Словесность все переиначит,
и, веря ей, потомок наш,
о нас такой ты отзыв дашь:
"На фестивалях все плясали,
вели строительство дворцов,
крепили фронт за мир борцов
да рапорты вождю писали!
Не люди — львы! Орлы! Киты!!!"
Не верь! Мы — люди, как и ты.

Мы так же верим в мощь прогресса,
а он все так же бестолков.
Страх смерти прячем за завесу
того же хлама пустяков.
Когда ж захочется ругаться, —
все те же языка богатства
и так же много медных лбов.
Та ж чистота, и та ж любовь,

и те ж святые, те ж мерзавцы.
В ходу — идейный абордаж,
и нетерпимость в мире та ж,
а вместо счастья — те ж эрзацы
и честолюбий та ж игра,
и то же завтра, что вчера...

22

...Ублюдок плановой системы,
скользил здесь спекулянт и хват,
уменьем проникать сквозь стены
напоминавший γ -квант.
Что не достать по магазинам —
лишь пальцем повернув мизинным,
он враз достанет и продаст.
А рядом с ним, ему в контраст,
сиял китаец взглядом чистым.
Как комсомольцы первых лет,
он в Маркса верой был согрет.
Худой, как пальцы пианиста,
прямой, как строчка дневника,
не знал он веры в полнакал...

23

Не поддаваясь вражьим козням,
повсюду свой таящим меч,
хотел он вновь гореньем поздним
светильник гаснувший возжечь.
Наш мир он сравнивал с каверной,
наполненною всякой скверной,
и с хирургическим ножом
готов был лезть он на рожен.
Но дядя Сам ловушки ставил...
Ох, эти происки врага!
Свои показывал рога
из всех углов заморский дьявол.
Был дух его и там и сям —
езде таился дядя Сам...

Тот дядя Сам то напивался
и песни глупые вопил,
то нас кружил под звуки вальса,
то у буфета пиво пил.
Под дудку империалистов
он рок-н-ролл плясал, неистов,
эксплуатируемых масс
проклятья заглушить стремясь,
идейки протащить пытаюсь
и нанести стараясь вред.
(Я выдам вам сейчас секрет:
был прежде русским тот китаец,
но за марксизм он засел
и от усердья — окосел.)

Стоял здесь бодрый, всех надменной,
идей новейших проводник.
В идейной стирке, в грязной пене,
как Афродита, он возник
и всплыл наверх дерьмом плавучим...
...В те дни звучал, как гром из тучи,
как духовых оркестров медь,
приказ: "Патронов не жалеть!"
И он не пожалел патрона,
сказав, что тот — космополит,
и что патриотизм велит
быть с таковыми непреклонным,
и что патрон, как дважды два, —
Иван, не помнящий родства...

Шеф пал, подстреленный, как утка,
своим питомцем в пять минут:
был парень чист от предрассудка,
что люди совестью зовут;
из молодых он был, да ранний.
Затем, не пожалев стараний, —
где крокодиллом, где хорьком —
успешно переполз в горком.

И был готов арапом наглым
опять ВПЕРЕД и ВЫШЕ лезть
на двух коньках: нахрап и лезть.
Друзей, врагов считал он тяглом,
на спинах чьих, горласт, мордаст,
он коммунизм себе создаст.

27

Он мог бы, в чайные награды,
загнать безвинного под суд,
взвести абсурд до чина правды,
и право превратить в абсурд,
а в урожаях весьма низких
винить ученых вейсманистских,
крестьян оставив без порток, —
венец творения, итог
развития сталинской эпохи,
когда молчали все края
и жизни жаркая струя
застыла, как литье в опоке, —
лишь рабский дух и ханжество
свое справляли торжество.

28

Приспособление, учит Дарвин, —
всеобщий жизненный закон,
и Чарльзу каждый благодарен,
кто с нашим временем знаком.
Мы приспособиться сумели
к движению к великой цели:
колхоз — к доходам нулевым,
официанты — к чаевым,
к своим постам, к машине личной —
номенклатурное лицо,
вожди — к обилию льстецов,
народ — к обилию "Столичной",
к потемкам — мысль, к сиропам — вкус
и к ленинизму — "Краткий курс".

Наш мозг и нынче — крематорий
идей, отравленных враньем.
Когда ж покончим с дремотою,
наследьем сталинских времен?
Живем в себе мы, как улитки.
Заветов ленинских реликты —
горенье, правда, простота —
их слой наносов растоптал.
Нет веры в то, о чем мечталось,
за что отцами кровь лилась,
и не задор в груди у нас,
а равнодушие, усталость;
лишь по субботам — мат да визг.
"На все плевать" — вот наш девиз...

...Держал нос по ветру философ..
Он, доктор флюгерных наук,
смотря какой в ходу был лозунг,
метался с севера на юг.
Собой отвратен был философ:
застыл среди ресниц белесых,
за ледяной броней очков
недвижный взгляд пустых зрачков.
Был безголос он, как Утесов,
и профессионально глух.
Из чувств — один лишь только нюх
имел описанный философ.
Менял сознание он чутьем,
чтоб жить отличным бытием.

"Не слишком много ль черной краски? —
швырнет читатель мне упрек. —
А где же светлые участки,
зачем их в дело я не впряг?
Где те, чей лик умыт и светел?
Слонов-то автор не приметил!
Не захотел сыскать алмаз
среди общественных гримас!"

Отвечу я, слезу размазав
по огорченному лицу:
"Мне, к сожаленью, не к лицу
мундир добытчика алмазов, —
и так их много развелось, —
кому ж тогда таскать навоз?!"

32

...Здесь был уроками живущий
голодный вечно фронтовик,
на бой за знания идущий,
как на врага идти привык...
В тот вечер, влюбчив и доверчив,
он, точно смерчем, был заверчен
девичьей ветреной красой,
опутан пепельной косой.
Весь зал собою потешая,
он не сводил с любимой глаз...
...Здесь веселился горный ас,
знаток Кавказа и Тяньшаня,
нашедший в диком том краю
вторую родину свою.

33

Он знал, он ведал, что такое
высот восторг, небес простор,
уступ, дрожащий под рукою,
и склон, где снег скользит пластом,
усталость до седьмого пота
и ощущение полета,
когда рюкзак снимаешь с плеч,
ручьев журчанье, речек речь
и грозных трещин ледниковых
бездонная голубизна,
и песен множество он знал —
бесстыдных, грустных, бестолковых —
и стук зубовый кастаньет,
когда ночуешь на стене,

когда все песни перепеты,
 все шутки произнесены,
 а расстоянье до рассвета —
 как расстоянье до Луны.
 Он не искал почета, выгод, —
 искал для силы духа выход
 и дружбы, что прочнее скал, —
 и здесь нашел он, что искал.
 Собой облезлый, некрасивый,
 носатый, словно пеликан,
 сердца друзей он привлекал
 той непосредственностью силой,
 той чувств прозрачностью до дна,
 что, скажем, в Робсоне видна...

.....

Была здесь Трифонова Нина —
 на миг дыханье ей верну! —
 которая меня пленила,
 и было сладко в том плену.
 Девчонка с Южного Урала,
 она меня завоевала
 своей прекрасной простотой,
 своей уральской красотой.
 По улочкам преображенским
 и по Матросской Тишине
 мы с ней скитались в тишине,
 бродя в задумчивом блаженстве...
 Какой же мир, какая ж тишь
 среди могил, где ты лежишь!

ГЛАВА ПЯТАЯ. ИРИНА

Учиться, учиться и учиться!
Н.С.Хрущев.

1

Есть (я знакомлю вас с Ириной),
есть на Козихе, за прудом,
доходный дом один старинный
во весь квартал... Огромный дом,
кирпично-красные каюты.
Тут без претензий, без уюта
студенты жили издавна.
Потом сменились времена.
Вселились прочно в эти кельи
врачи, работники пера,
певцы, портнихи, шофера,
рантье, пространщики, лакеи,
проводники, учителя,
три метра на душу деля.

2

Был Ирин предок педагогом.
Здесь он и жил, уча детей
местоименьям и предлогам,
лет двадцать кряду. А затем
зимой тридцать седьмого года
объявлен был врагом народа,
приговорен к восьми годам,
отправился на Магадан.
Там отбыл срок. Когда ж, без гроша,
в лохмотьях, он спешил зимой
на крыше спального домой, —
в борьбе за место наземь сброшен
был на ходу пинком ноги
и под колесами погиб.

3

Сквозь свежих истин лабиринты
всплывут, бывало, по ночам
воспоминанья у Иринки —
как на нее отец ворчал,

как шлепал и водил на елку.
Рассказы вспомнит про маевку,
про суд, про ссылку, про Сибирь,
как друг в побеге подсобил
и как отца, когда казачий
разоружали эшелон,
снаряд контузил тяжело,
как выжил, в школу был назначен,
и напоследок мозг разит
НКВД ночной визит,

4

отца слова: "Ну, что ж, берите,"
как лай, короткий мамин вскрик...
...Блуждает Ира в лабиринте,
а выход заперт, выход скрыт,
никак не сыщет нужной двери,
а и найдет, так не поверит.
Ей солнце застит кривды чад.
Призывы власти не звучат
парадно, живо и речисто.
Их ей не вынести парад:
прошла невинности пора.
Отвратно, лживо и нечисто
их прежний выглядит престиж:
потери веры — не простишь!

5

А утром, смотришь, без натуги
ночной кошмар уже забыт:
не тронута нутро натуры
у Иры ржавчиной обид.
Давай смеяться, петь и стряпать,
чертить, сдавать "Основы" на пять,
белье стирать, стихи учить,
в бюро скучать, коньки точить —
не девушка, а воплощёнье
мечты новейшего вождя:
усердно зúbрит, в вуз придя,
и не вдается в размышленья:
"Куда ведут? Какой ценой?"
И не короче ль путь иной?"

6

Красноречив новейший зодчий,
 когда — собрание случись —
 в пылу заботливости отчей
 твердит: "Учись! Учись! Учись!
 И зря в политику не суйся!
 Не для того свои ресурсы
 тебе дает рабочий класс,
 чтоб ты плевал в иконостас
 и раздражал больших сагибов,
 чтоб изошрял свой интеллект
 на протяжении пяти лет
 среди уклонов и загибов,
 среди нетоптанных дорог.
 Стране не нужен демагог!"

7

И все же мы встаем с коленей.
 Мы не трезвоним, не кричим,
 а ищем смысла у явлений
 и связи следствий и причин.
 Клеймят нас кличкой демагога,
 сулят казенную дорогу,
 но как плечами не пожать:
 "Довольно нас уже пужать!
 Отец, отец, оставь угрозы,
 они, ей-право, невпопад.
 Ведь юность — не гомеопат,
 не делит истину на дозы.
 Пусть глупо лезть нам на рожны,
 но правду всю мы знать должны."

8

Вполне лояльная по виду,
 Ирина пережечь смогла
 изжогу собственной обиды
 на жажду общего тепла.
 Смеясь над властью Гименя,
 лишь к правде страстью пламенея,
 она ценила у ребят
 критический и трезвый взгляд.

И оттого-то так внимала
потоку Жениных острот,
и этот умственный фокстрот
не тяготил ее нимало,
как тяготил других порой
своей бенгальскою игрой.

9

Он ей казался страшно смелым:
за словом он в карман не лез
(а между фразами и делом
у нас исчез дремучий лес;
в начале мира было слово,
оно ж — всех наших дел основа,
а делу — только и делов,
что фактом быть в поддержку слов).
Когда с безнравственной ухмылкой
все то, что свято, он чернил,
она шептала: "Как он мил!
Как он умен! Какой он пылкий!
Как тяжело взирать ему
на окружающую тьму!"

10

Лицом она была приятна
и с тальей тонкой, как струна,
как кошка белая, опрятна,
как математика, стройна.
Чуть вздернут нос, в глазах — смешинки,
а губы — точно две снежинки,
как два несмятых лепестка
полураскрытого цветка.
И в эту ночь, среди сверканья
полупритушенных огней,
был шарф сиреневый на ней
и платье из легчайшей ткани —
тот сорт, в котором на просвет
весь виден тела силуэт.

11

Евгений — мы уже сказали —
 с девчонками молчать привык.
 Но в этот вечер, в этом зале
 обрел внезапно он язык.
 Он даже увлекаться начал,
 о бале, о гостях судача.
 Желчь разлилась в нем. Впал он в раж.
 А все C_2H_5OH ,
 затейник многомиллионный,
 замена фильмов и газет,
 могучий вклад в страны бюджет.
 Молол, парами вдохновленный,
 Евгений перец эпиграмм
 (и мне отсыпал с килограмм).

12

...И вот танцуют Женя с Ирой.
 В полупространстве взор застыл.
 Мелькают — успевай фиксируй —
 улыбки, стенгазет листы,
 усы, философы, погоны,
 медали, лысины, колонны,
 китайцы, клипсы, кисея,
 у стойки с пивом толчея,
 прически модные тарзаны,
 плафоны, шеи, жемчуга,
 семиты из Кременчуга
 и самородки из Рязани...
 Смолкал и снова лязгал джаз, —
 они не слышали, кружась.

13

Гляжу я — мой герой растерян,
 в нем что-то новое горит.
 Уже не треплет про гостей он,
 а комплименты говорит.
 Как будто струйками озона,
 как будто закисью азота
 его внезапно обдало —
 тревожно сделалось, светло.

Смело барьер. И сразу стали,
как речи, руки их смелы,
как руки, взор они сплели,
как взоры, речи их блистали.
Так пролетел, должно быть, час,
в угаре увлечения мчась.

14

Но есть недуг, которым болен
класс образованных людей,
кто лишь по книжкам — в вузе, в школе —
искусством жизни овладел.
Мы импотентны к чувствам свежим,
на компоненты мы их режем.
Мы вспомним, глядя в потолок,
страстей подробный каталог.
Намек на страсть едва учуяв,
смекнем: "Откуда вдруг она?
И кстати ль? И на что годна?"
Как негра, мы ее линчуем
и неразменный рубль души
шутя меняем на гроши.

15

Кто так, по-книжному, воспитан,
тот поневоле Арлекин.
Из лоскутков себя кроит он,
на каждый клеит ярлыки.
Не ступит шагу по-простому —
все по Руссо да по Толстому.
Полсотней слов определив
любой сердечный перелив,
о чувствах судит он умело.
Хоть самому-то, может быть,
и не придется полюбить,
но помнит, как любил Ромео.
Не знает счастья жить сплеча.
Вполсилы радость и печаль.

16

Нет, как бы вы ни распинались
о пользе мозговых фибрилл,
все разъедающий анализ
вреда немало натворил.
Вот и сейчас! В мозгу у Жени
нейронов началось движение,
заволновалась кора:
"Гляди! Любовная игра!
А с кем? Что в Ире есть? Немного:
смешлива, сдержанна, нежна —
такая ли тебе нужна?
Прикинь!" И под пустым предлогом
расставшись с девушкой своей,
Евгений вышел из фойе.

17

Ушел. Исчез. Во тьме он скрылся.
Лишь еле слышно снег хрустел.
Весь свет пред Ирою затмился.
Ночного бала карусель
скучна ей стала и противна.
И вальс, и путы серпантина,
оскалы лиц, шуршащий шелк —
ах, ах, к чему? Ведь он ушел...
И мысли ею овладели —
уйти самой. Скорей уйти
от джаза, масок, конфетти,
скорей забыться сном в постели,
забыть и взгляд его, и речь...
Скорей в постель! Скорее лечь!..

18

...Высоко над двора квадратом
шло продвижение светил.
И месяц, дворником завзятым,
меж них порядок наводил.
Кого зажжет, кого потушит,
кого сомнет своею тушей,
кому, свою превысив власть,
в сердцах велит с небес упасть.

Как светлячки с болот полесских,
как символ счастья — семь слонят,
в плену планет плыл плот Плеяд
сплошь в млечной пыли бледном блеске.
Вздыхнул Евгений: "Хорошо!
Как хорошо,..что я ушел!

19

Вот только Иру я обидел..
Пойду-ка спать... Да нет... Постой!..
Какая ночь!.. Гляди... Юпитер
перемигнулся со звездой..
Вот шепот слышится снежинок..
Вот на моей ноге ботинок
ведет с коллегой перескрип..
Вот шепчутся верхушки лип..
Но почему и я с Ириной
не мог вот так всю ночь провести —
низать намеки, шутки, лесть
одной цепочкой, длинной-длинной..
Ей руку жать, ответа ждать..
Вернуться что ли, наверстать?.."

20

Линял, линял под звездным ливнем
остряк до кончиков волос..
Иные чувства расцвели в нем,
безверье старое рвалось..
Впервые ум, к смешному чуткий,
не отзывался новой шуткой,
когда, оборотясь назад,
он повстречал ее глаза.
Она была в своем наряде —
с рукою, вдруг прикрывшей грудь,
с лицом, испуганным чуть-чуть, —
подобна сказочной наяде..
Что было дальше, умолчу:
мне лирика не по плечу!

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ВЕСНА

*Энтропия мира стремится к
максимуму.*

Вредное высказывание

*Энергия не создается и не
уничтожается, а лишь переходит
из одной формулы в другую в
равных количествах.*

Ответ школьницы на экзаменах

1

День стал длинней, а солнце — выше.
Снег жух. Дымок со стен парил.
Немытый март, зевая, вышел,
весне ворота отворил.
В панель ударил гром капли.
На чердаках коты запели.
Звения, летят сосульки с крыш.
Челнок в ручей пустил малыш.
Сверкают лужи и витрины.
Не усидишь никак в дому.
Ведь полушарию всему
весна устроила смотрины,
решив: "Вступаю в новый брак!
Мир хоть и кругл, а не дурак!

2

Конечно, стар, живет по-свински,
но мне своим упорством мил.
Ему уже покорней сфинксы
в природе затаенных сил.
Добыл он электронный разум.
Чумную выветрил заразу.
Еще у тяжести в плену,
уже собрался на Луну.
И даже Солнце, если хочет,
из водорода смастерит.
А то, что нищ весьма старик,
его нисколько не порочит.
5 000 000 000 лет не в счет —
он в люди выбьется еще."

...С той ночи протекли недели.
 Переменился наш герой, —
 ведь чувства в нем не охладели.
 Теперь с обычной частотой
 в один и три десятых герца
 не бьется у героя сердце, —
 повыше герцев на полста
 отныне сердца частота.
 Как камень, тяжелы, весомы,
 владеют страсти им. Они
 запретны (словно в наши дни
 аллели, гены, хромосомы),
 сгущают кровь, туманят мозг,
 а волю превращают в воск.

Теперь ему не до учебы,
 хоть сессия — рукой подать.
 Все ищет он предлогов, чтобы
 свою Ирину повидать.
 То книжку у нее попросит
 и, не прочтя, назад приносит.
 То, смотришь, словно невзначай,
 ее у входа повстречал.
 То, формул-де не понимая,
 как распоследний дуралей,
 учить с ней сядет в параллель
 и спинку стула обнимает,
 мечтая о ее плечах.
 Любовь — всех дел его рычаг.

Он ходит с ней в кино, в концерты.
 Его я даже уличил,
 что в ресторан однажды в центре
 он с нею как-то заскочил.
 Но он взглянул на цвет столицы,
 сюда пришедший веселиться,
 на дармоедов молодых,
 на офицеров испитых,

недоучившихся артисток,
которым только и забот,
что сделать во-время аборт,
на кучу личностей нечистых,
эпохи третий эшелон, —
отплюнулся — и вышел вон.

6

Ведет пред Ирой он парадом
заветный строй своей души.
Любовь к язвительным тирадам
в себе он сходу потушил.
Лиричный ходит он, весенний —
типичный стал Сергей Есенин,
и даже к двери кабака
его порой влечет слегка, —
когда невысказанной страстью
Евгений больно уж томим,
и сердце тянется к другим
словам, чем "ну, пока" и "здрасьте".
И я, живя с ним, подмечал —
он спать стал плохо по ночам.

7

У Иры тоже масса хлопот.
Она в любовь вовлечена.
И, как свидетельствует опыт,
растет любви величина.
Она под Жениным конвоем
охотно ходит. И освоен
успешно ею целый ряд
коронных Жениных тирад
про партию, про бюрократов.
Но что за вздор! Пропал, исчез
к подобным темам интерес,
а ждет она любовных клятв.
Кладет на Ирины мозги
любовь последние мазки.

8

Но клятв не слышно. С виду Женя
 доброжелательно шутлив.
 Внутри ж его просты движенья:
 прилив — отлив, прилив — отлив.
 То чувств нескромных вереница
 в душе взволнованной теснится,
 и он, слепой, за их толпой
 крадется скользкою тропой.
 То созывает новый пленум
 своих желаний и надежд,
 и вдруг, решителен и свеж,
 пренебрежет сердечным пленом.
 То движется вперед, то взад.
 То против голоснет, то за.

9

Читатель, нервничать не стоит,
 гляди на дело веселей.
 Вся ж наша жизнь из синусоид,
 из асимптотик Бесселей.
 Все переменно. Вещь любая
 испытывает колебанья:
 и напряжение в сети,
 и смысл передовой статьи...
 Земля с прецессией вертится.
 Блуждает азимут пути,
 которым сказано идти.
 И даже мелкие частицы —
 на что уж свойствами бедны —
 и те имеют вид волны.

10

Нас колебанья всех тревожат,
 никак мы их не сокрушим.
 Я перешел недавно тоже
 на колебательный режим.
 Брожу в сомнении туманном:
 что делать с Женей и романом?
 Хоть до конца рукой подать,
 но как его, конец, подать?

Колеблюсь, словно на рессоре:
куда тянуть поэмы нить?
Рассорить их или женить?
Час неровен, как раз рассоришь, —
а уж не дашь обратный ход,
и энтропия возрастет.

11

”В волненьях мировой стихии
один закон неотвратим —
закон о росте энтропии,
когда процесс необратим,
когда поступка не исправишь,
назад вернуться не заставишь.
А смысл энтропии прост:
ее неудержимый рост
есть девальвация природы.
У ней, проклятой, цель одна:
событья исчерпать до дна,
на тепловые переходы
сведя и в смерти растворив
вселенной творческий порыв.

12

Борись со смертью тепловою,
необратимо не решай.
Сперва раскинь-ка головою,
и лишь раскинув, — совершай”, —
так думал я однажды в мае,
когда, финал изобретая,
бродил, бездарный, как Сурков.
Фотогеничных облаков
ватаги плавали, белея.
И небо мая над Москвой
напоминало синевой,
что справедлив закон Рэлея.
Но тут небесный горновой
закрыв источник огневой,

и подползла с востока темень
и облака приволокла,
и, словно искру высек кремень,
и, словно нож из-за угла,
ударил дождь. И дружно грянул
на город град округлых гранул,
и ахнул, граждан поразив,
грозы разбойничий призыв...
Я спешно скрылся от стихии
в подъезд стромынский боковой,
и вдруг, приткнувшись в таковой,
услышал я слова глухие.
Я замер... Все жарчей, жарчей
журчал в ночи речей ручей.

14. МОНОЛОГ ЕВГЕНИЯ

"Вновь солнце рыжим тараканом
сползло по стенке голубой, —
и день прошел, как в воду канул.
А я опять молчал с тобой.
Листва любитесь росой —
так каждый миг твоей красою
любуюсь я и не хочу
спугнуть тебя. И вот — молчу.
И улиц шум, и тишь читален
я в мысли о тебе одел,
наполнил о тебе мечтами
свой каждый шаг и каждый день.
И средь занятий, средь забот,
средь книг и формул, чуть помешкай,
чуть оторвись, — и враз встает
твое лицо, твоя усмешка
и взрывы смеха твоего,
и строй обдуманной прически,
и голосок твой боевой,
и интонаций подголоски"...

(Илья Пророк хватил по туче.
И я промок. И град поштучно
просыпался. И ветер жал.
А Женя дальше речь держал.)

"С тех пор, как побывали мы
в гостях у ночи и зимы, —
я не могу. Я брежу ими —
глазами ясными твоими,
твоей тяжелой прической,
всей красотой твоею броской...
...Улыбка в тонких губ концах
едва заметная таится —
и вдруг вспорхнет, как будто птица,
и заиграет, заискрится
на каждом мускуле лица.
И я за грацией ленивой,
спокойным взглядом милых глаз
угадываю ту же живость,
что и в улыбке прорвалась.
Идет взлетать твоим ресницам,
твоим зрачкам идет дрожать,
тебе ж самой — мне ночью сниться,
дневную явь опережать.
И больше воли укрепленьем
я заниматься не могу,
в необходимом отдалении
держась на каждом на шагу"...

(Так Женя говорил невесте.
А я стоял, таясь, в подъезде.
А дождь по Яузе плясал,
а ливень молнии кресал).

"...Какой отравой опоила?
В какую чашу завела?
Каким пожаром опалила,
сжигая прошлое дотла?
Я думал, что, привычки ради,
сумею тот огонь задуть,
что выйду я на прежний путь,

что отыщу противоядье.
Но стоит мне поймать при встрече
в руки пожатые, в блеске глаз
тень слабую возможных ласк,
любви желанное наречье, —
и вновь гремят ее раскаты,
опять я пью ее озон,
опять я вижу, что близка ты,
что длится мой неожиданный сон,
что мерю страсть я веской мерой,
что верю в счастье детской верой
и не хочу искать иного:
на одного и так мне много,
давай разделим на двоих!" —

воскликнул горячо жених.
Потом подумал и добавил:

"Дели же! Все в руках твоих:
свершение моих желаний,
крушение моих надежд,
мой поздний взлет, закат мой ранний,
сил жизни чувственный мятеж".

15

Прорвало выдержки плотину.
Любовный поезд дал свисток.
Покинув зимнюю квартиру,
наверх полез любви росток.
Кипит любовная реторта.
Летит любовная моторка.
Мчат, отпустивши конуса,
любви четыре колеса.
Суля влюбленным непогоду,
любовный гром покой расторг.
На стратегический простор
любовный танк прорвался сходу.
Его огонь, его металл
в труху приличья разметал...

О ты, весна, Земли царица!
Ты топишь вечные снега,
заставишь реки ты разлиться,
залить луга на сотни га.
И небо — нежною постелью,
поля — зеленою постелью
покроешь ты. Швырнешь в зенит
ты жаворонка — пусть звенит.
Ты в малой луже отразиться
заставишь лес и небеса.
Да что там небо! Что леса! —
смогла заставить ты забиться —
пусть ненароком, пусть слегка —
пустое сердце остряка!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ФИНАЛ

*Rp: Sic transit
gloria mundi.*

А.П.Чехов

*Пора кончать точить балясы.
Пора начать сводить балансы.*

1

С тех пор немало накрутило,
немало лет умчалось в тьму.
Наш курс по свету раскатило,
по этому — и по тому.
Кто, движимый гражданским долгом,
был физиком, а стал парторгом,
кто пишет ценные труды,
кто детворе твердит зады;
иной, посмотришь, вечно взмылен,
зажат в тисках семейных дел...
Кто безнадежно заболел
спрямленьем мозговых извилин...
Кто года через полтора,
глядишь, проникнет в доктора...

2

И, пряча голову как страус,
стараюсь не заметить я,
как подползает к горлу старость,
венец процесса бытия, —
когда баланс метаний тяжких
смерть подытожит на костяшках
и, сбросив разом со счетов,
промолвит буднично: "Готов!"
И чем ясней финал блужданий,
чем ближе нулевой предел,
тем больше несвершенных дел
и неисполненных гаданий,
и растратченной любви —
хоть распродажу объяви!

3

...Меня с высот читатель тащит:
 "Где ж Женя?" — у него вопрос...
 Забившись в глушь, в почтовый ящик,
 он с Ирой счастьем там оброс.
 Среди болот, глухих таежин
 почтовый ящик расположен.
 Не зря упрятаны в леса
 приземистые корпуса.
 На удивленье всей Европе,
 на посрамленье всех врагов —
 грядущих атомных веков
 здесь наступление торопят.
 Тут, как Суворов на редут,
 атаку на ядро ведут.

4

Как в недрах Солнца раскаленных,
 в бездонной темени небес,
 так за оградой стен бетонных
 протонный вихрь кружится здесь.
 Тут наш герой с наукой дружит:
 он ей ученым негром служит.
 Уже не прежний еретик,
 остепенился он, притих:
 ведь от добра — добра не ищут,
 увяз у птички коготок...
 Зимой он ходит на каток,
 а летом по болотам рыщет,
 собою кормит комаров,
 покоен, весел и здоров.

5

От воскресенья к воскресенью
 мелькает Женино житье
 однообразной каруселью.
 Он дело делает свое
 и, скажем, знать считает лишним,
 что за рекой в колхозе ближнем
 тринадцать баб — всего людей.
 Его стихия — мир идей.

Но все ж, различья устрояя
меж умственной и ручной
работой, — каждую весной
в колхоз ученых выгоняют.
А что ни осень, то опять
картошку просят убирать.

6

А в дни осеннего сезона
с соседом вместе и с женой
от скуки и для моциону
он развивает спорт грибной...
Найдет, и — чик! — любовно срежет...
Весь день звучит грибной скрежет,
валит навалом разный груздь,
и мировая гаснет грусть.
Он рад резвящимся березам,
подушке мха в глуби трясин,
огню осеннему осин
и облаков бокам белесым...
И с переполненной сумой,
унав, едва дойдет домой.

7

Как большинство своих соседей,
мечту герой лелеет наш:
стремясь уверенно к "Победе",
он выстроил уже гараж.
Крик детский слышен по поселку.
Не тратят тут досуг без толку:
без ухищрений, без затей
рожают каждый год детей.
Попал в лихие семьянины
и мой герой не без причин —
на днях письмо я получил,
он к дочке звал на именины.
Sic transit... Впрочем, что латынь!
Нельзя ж быть вечно молодым!

8

Мы допоздна с ним проболтали,
мы вспоминали дотемна
про дни учебы, про батальи,
про те лихие времена...
Потом он все сидел и хвастал:
"А речка, речка-то у нас-то!
Каких я в ней ловлю линей —
поверишь, удочки длинней...
Пошли? Свезешь в Москву подарок...
Не можешь?.. Жаль, дружище, жаль!..
Ты на неделе приезжай —
достали б парочку байдарок..."
И долго он еще хвалил
красу лесов, туман долин.

9

Но я, сторонник слова прозы,
момент удобный улучил
и на зловредные вопросы
внимание переключил.
Узнать мне просто захотелось:
куда его девалась смелость,
суждений странность, шуток злость...
Что с Женей случилось? В чем тут гвоздь?
"Я попросту, — ответил Женя, —
витать в эфире перестал,
расставил вещи по местам
и укротил воображение...
Борьба за правду? За права?..
Прости, но это ведь слова!..

10

К чему народу правды поиск?
Ты видишь ведь, что он устал,
он хочет жить, не беспокоясь,
что он бы правду освистал,
что быть глазам приятней в шорах,
ушам — вставать на каждый шорох,
сгибаться — шее и спине,
и благодарной течь слюне...

Что разменяли мы Коммуну
на телевизоры, постель,
обильный стол, прием гостей,
идеологию хромую,
что спит Минервина сова,
пред темнотою спасовав...

11

Я твердо-натвердо усвоил,
что, хоть и вижу в жизни зло,
но в поле я один — не воин,
что единица — не число.
Повадку — рабью или рыбью —
один я из людей не выбью.
Кому и что я докажу?
Себе лишь только досажу.
А у меня ведь есть успехи...
Науку двигая свою,
я больше обществу даю,
чем тыча пальцами в прорехи.
Я приближаю новый век,
не разрушая ветхих веж...

12

Подвалы в "Правде" я читаю
и между строчек ворожу:
почую оттепель — и таю,
мороз ударит — задрожу.
Порой наткнешься вновь на пакость,
на миг проснется прежний пафос,
но вспомнишь, что ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ, —
и никнешь, никого не зля...
Интеллигент новейшей кладки, —
как говорится, трудовой, —
распоряжаться головой
я не умею без оглядки:
я совершенства в том достиг,
как рассуждать от сих до сих..."

— Но это ведь повадка рабья.
 Уму границы положив,
 себя по доброй воле грабя,
 ты не живешь, а полужив!
 "Нет, счастлив я в своем пределе!
 Я не на воле, но при деле.
 Я не мыслитель, не Сократ,
 и для меня важней стократ
 смысл систематики Гелл-Манна
 и превращений K^0 ,
 и квантования полей,
 чем обличение обмана,
 в котором жить нам довелось:
 усевшись на кол — не елозы!"

.....

...Ну вот, читатель терпеливый,
 пришла пора трубить финал:
 окончен труд мой торопливый..
 Пусть ты не раз меня пинал,
 пусть ты готов швырять объедки
 в описанные мной объекты,
 пусть я тобой изобличен,
 в том, что поэма — ни о чем, —
 ты прав, согласен: Женя с Ирой
 служили только мне канвой;
 их отношения — тот конвой,
 который гнал меня по миру,
 зажатого толпой острот,
 в колодках тесных рифм и строф.

Но дороги мне эти строки —
 паренья первые круги,
 едва намеченные тропки,

еще неясные враги.
Быть может, крылья растоплю я,
быть может, выйдя в чистоплюю,
не стану руки я марать
о торжествующую рать.
Быть может!.. Но пока ночами
мне любо над стихом корпеть —
то в сладком гневѣ закипеть,
то хохотать, когда случайно
под озорным карандашом
король предстанет нагишом...

17

Я знаю, слыть ей клеветую,
ведь жизнь в поэме — без прикрас.
И грязью быть ей обливаю,
опубликуй ее как раз...
Уж критика не поленится,
и удалая поленница, —
все 33 богатыря,
за то судьбу благодаря,
что есть возможность наловчиться
в разбойном ремесле своем, —
наскочит на меня с дубьем,
как свора ловчих на волчицу,
и "Мала куча!" — вой издаст,
и ну гвоздить, во что горазд...

18

Мне на Парнас не выдан пропуск,
я — самоучка-пародист,
и не попасть за этот опус
в литературный парадиз:
нехватка явная таланта...
Была бы хоть ума палата,
так ведь и та — который год —
закрыта на переучет.
Товару в ней на грош не купишь.
Она, как в бублике дыра,
она, как атом без ядра,

как тот карман, в котором кукиш.
Но я упрям: пусть я таков,
а не отдам своих стихов.

19

Пусть я не верил никогда в них, —
теперь я греюсь их теплом.
Я не отдам недель тех давних,
когда, усевшись за диплом,
я понял то, чего не чаял:
и мне дано не спать ночами,
и мне дано мой мир облечь
в еще неслыханную речь.
Ни боль любви, ни правды пламя,
ни соль и горечь эпиграмм,
ни нашей жизни мелкий срам —
ничто в поэме не отдам я!..

.....
— А, может, кончить хвастовство?..
— Проголосуем? — Большинство!

1949—1950 (гл. 1—3)

1955—1956 (гл. 4—7)

Москва, Украина, Подмосковье

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Поэма "Евгений Стромынкин" была начата в 1949 г., когда автор учился на последнем курсе физического факультета МГУ. Фамилия главного героя произведена от московской улицы Стромынка, где в те времена находилось общежитие университета. Одновременно это парафраз названия другой университетской поэмы (созданной на механико-математическом факультете МГУ в 1939 г.) — "Евгений Неглинкин", тоже написанной онегинской строфой.

Первые три главы были созданы в 1949—1950 гг., завершена поэма в 1955—1956 гг. Небольшие исправления были внесены в 1974 г. Текст поэмы печатается по последней авторской рукописи 1974 г.

Не позже 1967 г. Г.Копылов написал одному из своих друзей письмо, в котором рассказывает о своей работе над поэмой. Приводим его по сохранившемуся черновику.

"Дорогой В(...) Л(...)"

Мне трудно выразить свою благодарность за Ваш столь благожелательный и столь серьезный отзыв о романе. Я не привык ни сам относиться серьезно к нему, ни слышать серьезные отзывы о нем, и Ваш — конечно, незаслуженно высокий — отзыв о нем был мне очень приятен. По-видимому, Вы знаете секрет, неизвестный моим дубненским коллегам-физикам, — что для поэтов похвала — это движущая сила, она подстегивает, заставляет замахиваться на большее; я и сам, как физик, знаю, что похвала физической статье ни к каким творческим последствиям для автора не приведет; похвала подытоживает и закрывает работу; но, выступая в роли поэта, убедился, что в поэзии похвала — это эвристическое средство, придающее поэту уверенность и смелость и в конечном счете окупающееся.

Что мешало мне относиться к этому делу серьезно? Во-первых, начато все это было как слепое подражание, без каких-либо особых претензий; и написана была 1/3, примерно то, что ходило затем в списках; но когда через год-два я начал понимать, что негоже подражать, я уже не мог отказать от "задела" и вынужден был тянуть дальше, стараясь хотя бы в рифме отойти от оригинала. Во-вторых, пока я писал, у меня иногда хватало серьезности, но на

отделку написанного часто не хватало. Я не верил в то, что стоит отделять: для рукописной вещи и так сойдет. В-третьих, она была задумана как физфаковская поэма. И в-четвертых, я никогда до этого стихов не писал.

По мере того, как вещь двигалась вперед, отпадал пункт (4), и вместе с нею изменялись пункты (1) и (3); я попытался придать теме нелокальное звучание. Но серьезней смотреть не стал, не считая сатиру поэзией. Только лет пять назад я впервые прочел Сашу Черного и понял, что и в бытописании может быть поэзия.

Конечно, Ваш отзыв побудит меня посмотреть на вещь серьезней, тем более что от Вашего внимания не ускользнули такие тонкости, которые, я думал, никто не заметит. Но настоящая отделка мне и не по силам, да и нужна ли она для непечатной вещи? Есть свой уровень отделки для публикаций, свой — для рукописи; на рукописном уровне — сойдет. Конечно, для публикации ее нужно было бы редактировать и редактировать, указывая пальцем: здесь плохо, и здесь, и здесь...

Эпиграф насчет Дездемоны, пожалуйста, густо вычеркните, это, действительно, противно. А вот насчет "упрек — впряг" я не согласен, ведь по-русски, как мне помнится, пишется "впряг", хотя произносится "впрёг", так что рифма на уровне.

Еще раз благодарю за Ваши слова. В Дубне ценителей такого рода деятельности нет, так что я привык чувствовать себя одиноко и никому не показывать то, что пишу, хотя все время надеюсь, что вещи, написанные мною после той, что у Вас, — превосходят ее и по замаху, и по форме. Вам, москвичам, в этом отношении легче, а у нас, где физическая мысль бьет ключом, интерес к общественным и литературным вопросам не подымается выше тривиальных высказываний или сплетен.

...Цель, ради которой я пишу, — проследить превращение идей в мозгу человека, исследовать сплав человека с идеей — требует непрерывного общения... Те законы, по которым человек сплавляется с идеей, тот круг превращений идей, который свойствен нашему времени, — все приходится ловить по крохам и производить из ума."

Ниже следуют примечания к отдельным строфам поэмы. Примечания эти двоякого рода. Прежде всего, приводятся варианты текста глав I—III в редакции 1950 г., так, как они сохранились в памяти редактора (см. предисловие). Нам кажется, что во многих случаях эти варианты не уступают окончательной редакции, а иногда и превосходят ее. Конечно, это субъективная оценка, возможно, обусловленная "эффектом запечатления", но как бы то ни было, варианты эти заслуживают быть сохраненными — хотя бы потому, что показывают творческую лабораторию автора.

При публикации варианта указывается номер главы и строфы в окончательной редакции, за которым следуют (в скобках) номера строк внутри строфы. Конечно, соответствие разных вариантов не всегда может быть точным — автор мог развить эпизод, сделав из одной строфы две-три, или, наоборот, сжать несколько строф в одну.

Приводятся лишь наиболее существенные варианты. Разночтения в одно-два слова, перестановки строк и т.п. не указываются.

Кроме того, даны собственно примечания. Поэма написана физиком, и не просто физиком, а выпускником МГУ, и не просто выпускником МГУ, а человеком, учившимся в этом университете во второй половине 40-х годов. Поэтому поэма требует комментариев как бы в три слоя — о физике, об университете, о времени.

Облегчающим обстоятельством является то, что редактор — тоже физик (точнее астрофизик, защищавший, однако, диссертацию по ядерной физике) и тоже выпускник МГУ. Поэтому ему легче, чем кому-либо, комментировать эту поэму. Правда, по времени существует небольшой сдвиг: окончание Г.Копыловым университета совпало с поступлением туда редактора. Кроме того, редактор кончал не физический, а механико-математический факультет (правда, между факультетами связи были довольно тесными). Из-за этих несовпадений отдельные места остались непрокомментированными.

У физиков, выпускников МГУ и студентов послевоенных лет редактор заранее просит прощения за разъяснения очевидных для них вещей и за возможные ошибки памяти.

Комментарии также даются с указанием соответствующих номеров глав и строф.

Гл. I

2. (1 — 4)

Так думал молодой бездельник,
в свои сомненья погружен.
Раздав долги, совсем без денег
под Новый год остался он.

3. (1 — 4)

По перечню предметов всякий,
я думаю, теперь поймет,
что мой герой — студент физфака
и в общежитии живет.

5. (5 — 14)

Ведь нынче вся поэтов стая
что ни попало воспевает,
глаза возведши к небесам.
Я мыслю — Маяковский сам,
когда бы видеть мог, воскресши,
как сотни членов ССП,
в одной соединясь толпе
и вытирая потны плеши,
поют осанну что есть сил, —
глаза бы к небу — и завыл!

7. (7)

идейность пьес, гармоней вздох,

8.

А то обидно — в прошлом лете
была воспета колбаса,
картошка тоже уж воспета,
а ты, стромынская краса
и гордость, кипяток отменный,
студента спутник неизменный,
отрада долгих вечеров,
ты, нежная моя любовь,

.....

давно нуждаешься в рекламе,
и вдохновенными стихами

хочу воспеть тебя дажно.
Спешу восполнить сей пробел
пока трамвай не подоспел.

Гл. II

3. (1 — 6)

Подобное бывает в преньях:
едва оратор сообщил
о международном положении,
о расстановке наших сил,
едва вопрос досрочной сдачи
увязывать он с этим начал,

4. — 6.

Покончив с детством, Женя книгам
дань увлечения отдал:
брал у друзей, глотал их мигом,
вновь доставал и вновь глотал.
От книжек перешел он быстро
на ремесло филателиста,
но вскоре бывший марколюб
стал зачащать в радиоклуб,
стал физикою увлекаться:
жег пробки, схемы собирал.
Но тут — война! И словно шквал
сметает цвет с кустов акаций,
так и его войны метель
смела за тридевять земель.

7. (9 — 12)

Забыты горечь отступленья,
тупой покой очередей,
краюшка хлеба на весь день,
в холодной школе обучение —

8. (9 — 11)

мечту он превращает в факт.
Он подал, принят на физфак,

9. (1 – 4, 9)

Видал ли ты провинциала,
что первый раз попал в Москву?
Как шику нашего в нем мало!
Какой сумбур в его мозгу!

.....

размеченная мостовая,

10.

Туда, где жили наши предки,
к Кремлю седому он спешит
и, куполов увидев редьки,
в благоговении дрожит.
Отсюда он, во-первых, может
пойти в Лаврушинский и там
смотреть "Явление Христа"
иль мелкий Репина эскизец,
или пшеничные поля,
что на полотнах навалаял
ведущий ныне живописец.
... А путь второй –
пойти кататься на метро.

12. (9 – 14)

К ее наружным атрибутам
и то почтение питал:
под корешком факториал,
на полке длинноносый Ньютон
и замдекана борода
были милы ему тогда.

"Под корешком факториал" – $\sqrt{!}$ – неофициальный символ
физического факультета МГУ.

"На полке длинноносый Ньютон" – бюст Ньютона над
левой (глядя от кафедры) дверью Большой физической аудитории в
старом здании университета. О нем же говорится в строфе 36 гл.
II: "В те дни, когда на бюст у двери садился первый пыли
слой".

13.

Н.Д.Папалекси — автор распространенного в те годы "Практикума по общей физике".

15. (5 — 6, 8)

Решили, скажем, коллективно
физфака двор изрыть ретиво

.....
являлся он без лишних просьб.

17. (13 — 14)

Острил всегда, острил везде,
острил — аж до тупых гвоздей.

"Как корень в плоскости комплексной двузначны быть должны слова". Квадратный корень из любого числа (включая отрицательные) в области комплексных чисел имеет два значения.

18. (5 — 6, 8 — 10)

С каким-нибудь лауреатом
держался он за панибрата,

.....
ДД не ставил ни во грош —
он был с ним на ноге семейной.
(он, впрочем, не один таков:

ДД — Дмитрий Дмитриевич Иваненко, известный советский физик (см. также строфу 35 гл. II). Ходили слухи, что, когда готовился разгром советской физики (несостоявшийся, так как нужна была атомная бомба), он предполагался на роль физического Лысенко.

21. (12 — 14)

что будто плазму понял Женя,
когда пришлось сдавать зачет...
Но, как известно, — все течет.

Теория физической плазмы (ионизованного газа с равной концентрацией зарядов противоположного знака) считалась особо запутанной.

26. (1,5 — 10, 13)

На первом бегал по музеям,

.....

усердно посещал лекторий,
ну, словом, был таким, который
зывается мыслящим юнцом.

Но охладел, в конце концов,
на третьем к клубу и балету;
зато, всем физикам подстать,

.....

Недавно — в прошлый выходной

28. (9 — 12)

Свой интеллект — и прежде низкий —
давно филолог растерял.

Непримирим историк стал.

Юрист — замашками Вышинский

29. (1 — 4, 9 — 11)

И сделалась совсем иною
младых филологинь краса —
улыбка томной, чуть хмельною,
все испытавшими — глаза.

.....

Стал химик ярым альпинистом.

Люд с геофака всех дружнее.

Биологички всех важней

30.

Нам наша физика отрада.

В ком индуктивный мыслей склад
и сердце емкостью с фараду —
те к нам на факультет спешат.

И этих свойств соединенье
даст резонанс на все явления
в эндовибраторе души.

Мы и в работе хороши,
и веселы в часы досуга,
и близок нам и буйный спорт,
о микромире жаркий спор

и взлет бетховенского духа,
и мы — мехматцам не в пример —
явь отличаем от химер.

В редакции 1950 г. оба варианта строф 31–33 шли не параллельно, а последовательно. Сначала шла строфа 31 второго варианта затем строфа, начинавшаяся строками:

Физфак! Как много в этом слове
для сердца нашего слилось!
Какою нежною любовью
оно в душе отзывалось!

Затем шли строки (5–14) строфы 31 первого варианта и далее по первому варианту. Строф 32–33 второго варианта не было, равно как и строк (1–4) строфы 34 этого варианта.

31. (Другой вариант)

"Угрюмое создание Столетова на Моховой" — красный кирпичный корпус физического факультета МГУ, находившийся во дворе дома № 9 по ул. Моховой. В этом здании находилась Большая физическая аудитория.

"Кручи Воробьевых гор орлиный привлекают взор". Во время написания поэмы обсуждалось, а затем было принято решение о строительстве нового здания МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах.

34.

"Гербы в ромбиках" — значки выпускников университета.

35.

ДД — Д.Д.Иваненко (см. строфы 18 и 37 гл. II).

"Сын памятника" — Аркадий Климентьевич Тимирязев, читавший курс истории физики. А.К.Тимирязев — сын великого физиолога К.А.Тимирязева, памятник которому стоит в Москве у Никитских ворот. См. далее строфу 36, где речь идет о "настоящем Тимирязеве".

36.

"В те дни, когда на бюст у двери" — см. примечания к строфе 12 гл. II. Отсюда видно, что семинар проходит в Большой физической аудитории МГУ.

"Здесь Хайкин курс махистский свой"... Том 1 "Курса общей физики" — "Механика", написанный проф. С.Э.Хайкиным, в период борьбы с "буржуазными тенденциями" в физике был обвинен в "махизме". Однако, к счастью, "идейная борьба" в физике, в отличие от биологии, никогда не была доведена до конца, и книга С.Хайкина, будучи осуждена, все же не была изъята, и по ней все учились.

Гл. III

2. (2 — 4, 9 — 14)

За дверью музыка в ражу.
Нестройно голоса ревели
Столь популярную "Моржу".

.....

Стромынкин входит, грудь расправив.
"Евгений, сукин сын, здоров!" —
взвился обрадованный рев.
"Ты что ж нас ожидать заставил?"
"Штрафной ему, пусть пьет до дна!"
"Ребя, он сам принес вина!"

3. (1 — 4, 10 — 12)

Евгений радостно сияет —
здесь все знакомы, свой народ.
Девчатам руки пожимает,
тычки ребятам раздает.

.....

Вмешался в общий разговор,
флиртует, мелет всякий вздор,
то в танцы пустится, то в пенье,

5. (12 — 13)

И вору, что отмычку спрятав,
шел на работу на вокзал —

6. (2, 5 — 12)

за факультет, за всех за нас,

.....

Гремит "Моржа" подобно гимну,
заводит разговор интимный

сосед с соседкою своей.
На вечеринке все шумней,
от тел танцоров жаром пышет.
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
людскую молвь и конский топ
прохожие за дверью слышат.

Гл. IV

3.

"Мелькая, словно электроны, своими спинами двумя".
Игра слов: в физике "спин" — характеристика элементарной частицы, в том числе и электрона, характеризующая его собственный момент количества движения (от английского spin, т.е. "вращение").

4.

"Как электроны, мчались пары меж амплитудных облаков". Согласно представлениям современной физики, элементарные частицы имеют двойственную природу — волны и корпускулы одновременно. Но это волны особого рода — "волны вероятности", амплитуда которых характеризует частицу.

8.

"Молекул хоровод, соединенных двухвалентно": молекулы—пары состоят из атомов—танцоров, держащихся за руки. "Тепловые движения" — хаотические, без преимущественного направления.

10.

"Сопровитляйся как мегом": мегом — миллион ом, огромная величина электрического сопротивления.

12.

"Инвалид пятой группы": пункт "Национальность" в анкетах стоял в те годы под номером 5.

13.

Verbum est argentum (лат.): слово — серебро (молчание, соответственно, — золото).

22.

"Уменьем проникать сквозь стены напоминавший γ -КВАНТ": гамма-кванты имеют очень большую энергию и обладают высокой проникающей способностью.

Гл V

11.

Для тех, кто, конечно, знал, но забыл: C_2H_5OH — этиловый спирт, он же — просто спирт.

13.

"Закись азота" — "веселящий газ".

15.

Редактор не может удержаться, чтобы не напомнить стихотворение А.К.Толстого: "Коль любить, так без рассудку... коль рубить, так уж сплеча"...

Гл VI

2.

В начале 1950-х годов возраст наблюдаемой части вселенной оценивался в 5 млрд. лет. Сейчас — несколько больше.

3.

"С обычной частотой в один и три десятых герца не бьется у героя сердце": 1,3 гц — 78 ударов в секунду; "повыше герцев на полста" — поэтическое преувеличение.

"Запретны (словно в наши дни аллели, гены, хромосомы)". В то время понятия и термины корпускулярной генетики были запрещены к употреблению. Только что, в 1948 г., прошла сессия ВАСХНИЛ, на которой генетика была разгромлена.

9.

"Вся ж наша жизнь из синусоид, из асимптотик Бесселей." Что такое синусоида, все помнят еще из школы. "Асимптотика Бесселей" — асимптотическое выражение функции Бесселя. Функция Бесселя — очень сложная функция, ее график имеет вид затухающего колебания, она бесконечное число раз проходит через нуль. Ее приблизительное (асимптотическое) выражение

включает в себя косинусоиду. Короче, как сказано далее: "Все перемененно. Вещь любая испытывает колебанья."

"Мелкие частицы... имеют вид волны": согласно понятиям современной физики существует дуализм волн и частиц — элементарные субатомные частицы можно рассматривать и как волну, и как корпускулу.

II — 12.

Энтропия мира, согласно 2-му началу термодинамики, может только возрастать. Это означает, что самопроизвольно мир может лишь переходить от состояния упорядоченности к более хаотическому состоянию; любые другие виды энергии стремятся перейти в тепловую (теория "тепловой смерти Вселенной").

12.

"Небо мая над Москвой напоминало синевой, что справедлив закон Рэлея". Согласно закону Рэлея рассеяние электромагнитных волн на молекулах газа обратно пропорционально пятой степени длины волны. Поэтому, хотя в солнечном спектре больше длинноволновых красных, чем коротковолновых синих лучей, последние рассеиваются атмосферой гораздо сильнее. Из-за этого небо имеет синий, а не красный цвет.

Гл. VII

3.

Настоящее издание рассчитано на тех, кому не нужно объяснять, что "почтовый ящик" означает секретное предприятие, обозначенное лишь номером п/я, а не адресом.

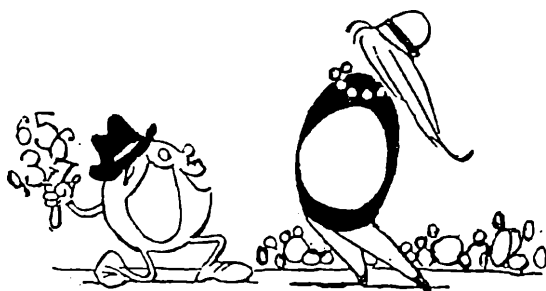
4.

"Протонный вихрь кружится здесь" — скорее всего в п/я Е.Стромынкина действовал циклотрон или синхрофазотрон — ускоритель тяжелых частиц (в том числе протонов).

13.

K^0 — читать: "ка — нулей"; K^0 — элементарная частица — нейтральный мезон. Существуют два его вида, способные превращаться друг в друга. Вообще же, поскольку читатель предполагается мыслителем, то для него все эти материи менее важны, чем для Е.Стромынкина.

СТИХОТВОРЕНИЯ



РУССКАЯ ИСТОРИЯ ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ХРУЩЕВА (новые главы)

1. Когда Ильич скончался,
ЦК в тупик зашло:
кого бы нам в начальство,
чтоб нас вперед вело?
2. Хоть завещал Ильич нам,
чтоб правил коллектив,
но ведь в аспекте личном
есть больше перспектив...
3. И рассудило, бросив,
далекий взгляд вперед,
что лучше всех Иосиф
порядок наведет.
4. И появился Сталин,
взлетел наверх орлом,
и нас к заветным далям
повел он напролом.
5. "Страхнем, — воскликнул, — разом
старья гнилой балласт.
Пусть масс энтузиазм
социализм создаст.
6. А я пока затею
идейную борьбу:
за лишнюю идею
маршрут один — в трубу.
7. Нам двух идей не надо,
разброд нам ни к чему.
В единстве лишь порядок.
Равняйся по одному!
8. Сверх единицы числа
все нужно сократить.
Сверх утвержденных мысли
все нужно запретить!"
9. И начал эпопею.
Законность? Да на кой!
Врагов карал своею
он собственной рукой.

10. Сегодня Киров, Радек,
а завтра Пятаков —
навел он свой порядок
в рядах большевиков,
11. оставив бессловесных
трепещущую рать,
таких, о ком известно,
что звезд им не хватать, —
12. и объявил: "Порядок
построен в основном.
Теперь вперед парадом
под барабанный гром!"
13. И начались тут крики,
и зажурчал елей:
"Он мудрый! Он великий!
Он — Ленин наших дней!
14. Вождю народов слава!
Пусть он с врагами крут, —
но нам дает он право
на отдых и на труд..."
15. И что ж! Тот вопль покуда
пространства оглашал,
учитель наш премудрый
рассудком оплошал:
16. слетел с поста Литвинов,
явился Вячеслав,
побить затеяв финнов,
в Берлин посла послав.
17. Немецкий вождь границы
пошел сметать сплеча,
а наш — ему пшеницу
с усердием качал.
18. Не только ихний фюрер,
за нос друзей вода, —
смеялись даже куры
над мудростью вождя.
19. А плакать всей России
зато потом пришлось.
Россию оросили
дожди, потоки слез,

20. когда под треск моторов
вчерашние друзья
свой истый вскрыли норы
нам гибелью грозя.
21. Сперва почуял робость
наш вождь. А после — хватъ! —
достал большущий глобус
и начал воевать.
22. За ленинградский голод,
за миллионы вдов,
за всех детишек голых,
за гибель городов,
23. за пленных сотни тысяч,
за сосланный Кавказ
его бы взять да высечь...
И — высекли... как раз
24. на фоне из развалин
куда ни глянь — пейзаж:
из мрамора изваян
стоит спаситель наш.
25. Хоть в чем его заслуга,
какая ей цена,
доходит крайне туго.
Но кончилась война,
26. в сияньи майских радуг
победу принеся, —
и наводить порядок
опять он принялся.
27. Не сытых паразитов,
отъевшихся в войну, —
десницею разит он
измученных в плену,
28. космополитов давит,
низкопоклонцев гнет.
И здорово он правит,
аж пар от всех идет.
29. Философа, эстета
и знатока наук
открыл в себе при этом
наш вождь и лучший друг.

30. В марксизм он, как в сберкассу,
за вкладом вклад вносил,
трудящемуся классу
духовный хлеб месил.
31. Но вот какое дело:
что ни замесит он,
все гнило, все мертвело,
теряло свой резон.
32. Начнет литературы
он укреплять росток —
глядишь, макулатуры
забушевал поток.
33. Кино с энтузиазмом
он укрепляет, — но
шибают в нос миазмы
от русского кино.
34. Сигнал подаст Лысенке:
"А ну-ка, развернись!"
Глядишь, Лысенко к стенке
поставил дарвинизм.
35. И мыкались не мы ли,
уча его труды:
"Как думают немые?"
"Зачем твердить зады?"
36. Еще одно из качеств
отметить мы должны:
всю жизнь он прожил, прячась
от собственной страны.
37. За крепостной стеною
сидел, не выходя,
бывало, лишь в кино и
увидишь лик вождя,
38. лишь только на картинках,
в изданиях партийных,
на зрелищах спортивных,
да в лавках керосинных,
39. да в хлебных магазинах,
да на пути на рынок,
меж муляжей в витринах,
в метро среди мозаик,

40. в трамваях, на вокзалах,
на вазах, кубках, чарках,
на марках, арках в парках
и корках детских книг
и видишь этот лик.
41. Таков уж был порядок,
наилучший на Земле:
душа в районе пяток,
а прочее — в Кремле.
42. На лесть, на славу падох,
для критики не гош —
как две слезы, порядок
был на творца похож.
43. Кто громче всех заявит,
что верен как гранит,
кто лишний раз прославит —
тот сверху,
тот и правит
и выше норовит —
44. в начальники, в министры,
в конторы, главки, трест,
и брюхо, как канистры
в момент себе наест.
45. От молдаван до финнов,
от дедов до внучат,
билет со счастьем вынув,
все радостно молчат
46. и даже носом дышат,
чтоб рта не раскрывать, —
одни приветы пишут
и план спешат давать.
47. Всем хорошо, всем сладко,
повсюду благодать,
дорвались до порядка,
и нету недостатков —
нигде их не видать.
48. Раздастся лишь команда —
и весь СССР
от Кеми до Коканда
дает весенний сев.

49. Глядишь, звучит другая —
и вмиг по всей стране
уборка урожая
завершена вполне.
50. Команда — и в порыве
едином мы даем
победы,
план по рыбе,
борьбу за мир,
заем.
51. Законы мы сместили,
не стало их в России,
их наш порыв отверг,
лишь Архимед был в силе:
дерьмо всплывало вверх.
52. Ликует вождь, природе
законы предписав.
И начались в народе
чудные чудеса:
53. сады повсюду рубят,
зазря посевы губят,
и лошадей и скот
спешат пустить в расход.
54. Коровы не доятся,
и нет яиц у кур,
и свиньи не плодятся.
Но в сводках все ажур.
55. Потребностям возросшим
дав максимальный ход,
лишь лучшее с хорошим
порой в конфликт войдет.
56. Отменный был порядок,
другой такой найди:
семь с ложкой — в аппаратах,
а с сошкой — один.
57. Из клятв, лесных посадок,
призывов и анкет
возводится порядок,
какого в мире нет.

58. Куда бы докатился
российский колобок?
Когда б еще смутился
расистский полубог?
59. Как знать! Но раз замыслил
еврейский он погром,
натужился
и свистнул,
и вдруг осел, багров:
60. то крови всех убитых,
всех брошенных в тюрьму,
замученных, избитых —
всей крови той избыток
ударил в мозг ему!
61. Удар апоплексии,
вовек прославлен будь!
Открыл опять России
ты к коммунизму путь.
62. Ведь без твоей защиты
никто бы нас не спас:
ни Тито,
ни Никита,
ни партия,
ни класс...
63. Но взрыв народной скорби
был слеп, велик, тяжел.
Фигуры в горе сгорбив,
народ прощаться шел.
64. Кровавые поминки
на славу справил он
в гигантской той Ходинке
во время похорон...

* * *

65. Меня вопрос тревожит:
известно, что герой
играть отнюдь не может
решающую роль,

66. что не способна личность
историю творить...
Все это так, отлично,
о чем тут говорить...
67. Но вот вам вождь, который
творил и роль играл,
российскою исторьей
как тройкой управлял:
68. хлестнет — бежит скорее,
пугая всех окрест,
мигнет — война в Корее,
чихнет — и Польшу съест,
69. все мрет, раз кучер замер,
склонясь на передок...
Друзья, вот вам экзамен —
решите парадокс!..

* * *

70. Чтоб дать ответ, читатель,
давай сперва решим,
кому пришелся кстати
описанный режим...
71. Из деятелей высших
был сталинский костяк,
из этих, как их... бывших
рабочих и крестьян;
72. для нынешних владельцев
дач, кресел и машин,
для сталинских гвардейцев
был нужен тот режим,
73. для трезвых карьеристов,
заядлых шовинистов,
внушительных вельмож,
для новых коммунистов,
в ком принципов ни в грош,
74. партийцев, ради выгод
готовых без труда
и друга сходу выдать,
и весь народ продать.

75. Их много, хищных, лживых,
слетелось на пирог.
Громада туш их жирных
легла нам поперек.
76. Как много их, всеядных,
ретивых сволочей,
спокойных, аккуратных,
корректных палачей —
77. из тех, кто по команде
и растлевал, и бил,
а сам, как Богоматерь
вполне невинным был!
78. ОНИ слепили идол,
включили ореол.
А он уж их не выдал,
в надежде не подвел.
79. Делились вождь и слуги.
Ему — большая власть.
Они — в своей округе
командовали всласть.
80. Решение тут простое:
он — вождь, да что с того —
не он творил историю,
усевшись на престоле,
в безжизненном просторе, —
а сталинцы — его.

* * *

81. И пару слов о культе
сказать я премину ль?
Друзья, вы не ликуйте,
что культ сошел на нуль.
82. Хотя виновник умер,
хоть культ преодолён, —
молчит, как тыща мумий,
народу миллион.
83. Ещё нескоро финиш
ведущей из эпох.
Ещё нескоро вынешь
ты душу из сапог.

84. — Да кто ж нам храбрость вышиб?
Какой нам страшен кнут?
Вождь, вроде, был да вышел!
— Что вождь! Бери-ка выше:
ведь сталинцы — живут.
85. Смешат своим двуличьем,
страшат своим величием,
своим наличием свет.
И, право, нет отличья,
что кончен культ, что нет.

* * *

86. Но ни к чему в миноре
стихи сейчас кончать.
Сулит нам жизнь иное,
раз сорвана печать.
87. Сорвал ее умело
наш храбрый босс Хрущев.
Мысль выползла несмело
из нравственных трущоб.
88. Джинн вылез из сосуда,
джинн вырос до небес,
джинн виден отовсюду
и сквозь очки, и без.
89. Обратно не полезет
в бутылку вольный дух.
Нажим тут бесполезен,
и к хитrostям он глух.
90. Ленив и неуверен,
отцокал первый шаг
прогресса сивый мерин..
Иль это звон в ушах?..

1958

СОСТРИЛ ОСТРЯК

Хоть как остряк он был бездарен,
но тем больней он нас ударил.
Сидел себе с невинным видом
и вдруг свою острогу выдал.
И все, что дорого и свято,
вдруг стало скомкано и смято,
оплевано словом бесстыжим
каким-то самоучкой рыжим.

И хлынул мощный, как река,
народный гнев на остряка.
Шутить?

Мы ценим шутку сами,
охотно мы смеемся с вами,
когда нас в этом убедил
руководящий Крокодил.
Готовы мы смеяться дружно
над тем, над чем смеяться нужно,
есть актуальный список тем,
смеяться можем мы над тем...
Но должен быть предел, граница,
где надлежит остановиться,
какой-то ж должен быть причал,
начало всяческих начал,
ведь есть у нас святое что-то,
пред чем склоняется острота, —
и это, дорогое нам,
не отдадим мы болтунам.

Остряк подвергнут остракизму,
ему за шутки вставят клизму.
Теперь поставят остряку
любое лыко во строку.
Он покрехтит! Ему, собаке,
покажут, где зимуют раки.
За нанесение обид
морально будет он убит.
Ему разочек всыпят перцу...
Уж он свою прикроет дверцу.

Его — за ухо да на суд.
О нем, где надо, донесут —
зачем он так людей задел,
зачем забыл, что есть предел?

Что ежедневно в прессе славят,
о чем театры пьесы ставят,
творят поэты мадригал —
подряд все это надругал!
Намеком оскорбил бесстыжим
он то, чему мы пятки лижем!

.
Себе на гибель, нам во страх
презрительно сострил остряк.

1964—1965

К САМОМУ СЕБЕ

Больно все просто, слишком все ясно,
словно для взрослых — детские ясли,
словно влип ты, друг, в бесконечный круг,
впрямь левитом стал, деловитым стал:
сочинил статью, подзудрил Четью,
сотворил обзор, подзакрыл бозон,
поломил горбом, предложил прибор,
ни случайных штук, ни скучальных сук,
все известно, все размечено,
дело есть, а делать нечего.

Ты устрой-ка путч, ты разрой-ка путь,
ты махни рукой, утеки рекой,
увильни ручьем, улети грачом,
от усердия, от успехов отдохни,
в темном сердце — свету дверцу отомкни:
малым радостям, разным разностям,
ливням с ветрами, небу светлому,
сердцу ласковому, бегству на сторону.

Шел я точно, не сворачивал,
темпы мощные наращивал:
может было так и надобно —
напрямик ломить по надолбам,
взять науку, как Бастилию,
ухватить подход и стиль ее,
ощутить ее покорною,
встать, как на плиту опорную...

А теперь над твердой почвою
я себя другим попотчую

Раз уперся — разогнусь-ка я!

Ты прощай, дорожка узкая!

Я пойду другими румбами,
непродуманными, трудными,
сапоги возьму болотные,
завернусь плащом-болоньей...

Завернусь плащом, поведу плечом
и пойду на свет. Пусть мне смотрят вслед.

1967—1969

”МОНОЛОГ АМЕРИКАНСКОГО БИТНИКА”

Нет, не атака, не подкуп,
не гнев, не пафос...
А — бойкот!

Бойкот их преступлениям,
бойкот их съездам-пленумам,

бойкот их местным выборам,
бойкот их мерзким выгодам,

уродству их духовному,
совету их верховному,

победному их плясу,
ракетному их мясу,

психозов их истории,
их звездной оратории,

законам их драконьим,
казенным их дрекольям,

их просвещению в потьмах,
их освящению бумаг,

их правдам трехкопеечным,
парадов громким перечням,

их гениям, их премиям,
их прениям, их веяньям,

всей уголовной их возне,
всей либеральной их весне,

единству их арабскому,

сценарию дурацкому
их представлений в космосе,

их совести бескостности,
их трупов оживлению,
их трутней ожирению,

их собственным Платонам —
сексотственным парторгам,
правителям бездарным,
философам, жандармам,
быков несметной гвардии...

Бойкот бессмертной гадине!
Бойкот — затее их любой!
Пока бойкот.
А будет бой.

декабрь 1969

Было дело на Луне.
Нуль женился на нуле.
Окруженные нулями,
свадьбу весело гуляли.
Нуль нулю кричал: "Налей!
Выпьем, братцы, за нулей!
Мы — нули!
Мы соль Луны!
Мы округлы,
мы полны,
мы моральны,
мы приличны,
мы центрально-симметричны,
мы устойчивы вполне!
Мы, нули, подстать Луне!"

Нуль в ответ кричал нулю:
— "Я хвалиться не люблю,
но скажу!
Пусть нуль и прост,
не хватает с неба звезд,
пусть умом нерасторопен,
но зато уж — изотропен:
одинаково широк
косо, вдоль и поперек.
Мы похожи, словно слепки,
взгляды наши стойки, крепки.
Чуть начальство нам мигни:
"Эй, нули!" — Мы вот они...
И едим начальство глазом,
и вихляем гибким тазом...
Вот за это свойство масс
всех начальство любит нас.
И живем мы без кручин:
как велят — ура кричим,
и молчим, когда велят,
и растим себе нулят...
Чем начальство мы пленяем?
Что взаимозаменяем
каждый член в телах у нас:

нюх нам служит вместо глаз,
служит нам спина фасадом,
голова нам служит задом,
зад нам служит головой,
сердцем — орган половой...

Говорят, что, мол, нули мы
скользки будто, как налимь...
Отчего ж не жить скользя,
если иначе нельзя:
мы круглы, Луна кругла,
ни зацепки, ни угла,
сила тяжести мала —
пусть хоть слабый ветерок,
а не встанешь поперек..."

..Новый гость воскликнул:
— "Гости!
Буду краток в новом тосте!
Вот невеста,
вот жених,
вот он я.
Я пью за них!
Хороша собой супруга:
и округла, и упруга,
и жених подстать невесте:
в безразличном равновесьи;
у него, как у Луны,
нет обратной стороны,
он в любой хорош системе,
он и с этими, и с теми,
как ни кинь его, ни брось, —
все стоит носками врозь
и начальство гложет глазом,
а в глазу энтузиазм!"...

.....
Нуль женился на нуле.
Хорошо им на Луне.
Правда, нечем там дышать,
рот приказано зажать,

но нулям и так удобно:
"Поживем анаэробно..."
И на солнце, и в тени
размножаются они,
прибавляют дружно в весе,
пребывают в равновесье.
Все смелей,
круглей,
наглей,
все обширней род нулей...

1965—1971

ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО

Я как эллин возлежу,
как тип из древней гречности,
валидолину лижу
и думаю о вечности.
Не фантазия, но факт:
и меня постиг инфаркт.
Две недели
я в постели.
Лекарств — кишмя,
вся жизнь — плашмя.
Я в руках врачей и нянь.
Вял и желт, как слизень.
Ах, в расцвете сил увянь,
молодая жизнь.
Я объят сердечной мукой,
как влюбленный при луне.
И моей родной наукой
не дают заняться мне.
Мечты оборваны
на полпути.
Застыли формулы,
лежат статьи.
О взлете гения —
good bye, adieu!
О лед рентгена я
разбил ладью.
"Довольно! Песня спета!" —
решил райрепертком.
И сделал райинспектор
в сердце мне прокол.
Лежу, как спирохета, бледный.
Пишу "прощай" своим друзьям,
обвитый траурною лентой
безжалостных кардиограмм.
Пишу, а самому не верится,
что так некстати все сошлось.
И в глупом сердце
глупо вертится
невозмутимое "авось".

26 января 1976

ПРИМЕЧАНИЯ

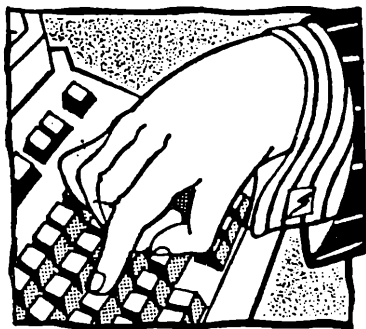
К САМОМУ СЕБЕ

”Подзакрыл бозон”. Бозон — особая категория частиц, элементарных или составных. К бозонам относятся, например, фотоны (световые кванты) или атом водорода. Существование некоторых бозонов (например, квантов поля тяготения) теоретически возможно, но экспериментально не доказано, так что их можно и ”подзакрыть”.

МОНОЛОГ АМЕРИКАНСКОГО БИТНИКА

”Их просвещению в потьмах”. ”В потьмах” пишется раздельно: ст. Пóтьма в Мордовии в 60-е — 70-е гг. была столицей края, где были сосредоточены лагеря для политзаключенных.

ПУБЛИЦИСТИКА



КАК БЫТЬ?

Недавно в одной из публикаций Самиздата была высказана вот какая мысль: "...следовало бы отказаться от обиходного цинизма, который одинаково обесценивает правду и ложь, поверить в какие-то моральные ценности, пусть даже смешные, и пытаться обрести внутреннюю свободу. Как это сделать — по-видимому, каждый должен решать сам. Не каждый может, да и не всегда это лучший способ, открыто выступать против тех условий, в которых мы живем; но лучше вообще молчать, чем говорить неправду, лучше отказаться от публикации какой-то своей книги, чем выпускать прямо противоположное тому, что написал сначала, лучше отказаться от поездки за границу, чем стать ради этого осведомителем или "отчитаться" фиглярской поэмой, лучше отказаться от пресс-конференции, чем публично заявить, что в нашей стране существует свобода творчества. Если отдельный человек или вся страна действительно хотят стать свободными, они должны как-то добиться свободы, хотя бы путем несотрудничества с теми, кто их угнетает..."

Я бы хотел детализовать эту мысль, слегка уведя ее при этом в сторону. Можно ли создать в условиях угнетательского режима культуру, противостоящую этому режиму? Я хотел бы здесь показать, что задача эта разрешима. Что она уже решается, и решается успешно. И что, если мы хотим свободного житья, мы должны сознательно развивать и активно нести в народ эту культуру.

ОННЕ УНС, ИЛИ ОТДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

Приведенное высказывание оттого так легко укладывается в голове, что, по существу, его идеи уже овладели многими. Такова идея несотрудничества с угнетателями. Я бы обобщил: идея неприятия их культуры, всего их образа мыслей.

От гуманитария — писателя ли, историка ли — эта общая идея требует большего, чем от простого смертного: не только неприятие, но и — не быть коллаборантом; не простое игнорирование, а — поступки себе во вред. Оттого эта идея среди них не так распространена.

Но среди нас, простой рабочей скотинки социализма: университетов и академиков, крестьян, привыкших выворачиваться на бесправьи, и рабочих, еще не пропивших свой ум, учащейся молодежи, провинциальных инженеров и армейских инженер-капитанов — это неприятие давно в ходу. Его не сеют, не жнут — оно, как дураки, само родится. Оно не может не явиться на свет, ибо та культура, которую всех нас, от академика до плотника, пичкает власть, так детски примитивна, так идиотски бездарна, так нагло лицемерна, так вопиюще вничеловечна, что иного и быть не может. Это не культура, а чудо природы. Живой организм, состоящий из одной казенной части. Подарочный набор из флюгера, карамельки и биографии вождя. Эклектическое соединение впопыхах слепленных частей, между которыми — никого не заботящие разрывы: между словом и делом, между реальностью и здравым смыслом, между посулами и выдачей. А человек не выносит таких разрывов. Сам принимается заполнять их. Создает свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях. Итог — фактическое невосприятие официального мира. Недоверие ко всему, что оттуда. Молчаливый, порою неосознанный принцип *ohne uns* ("без нас").

И действительно, не отсеиваем ли мы, часто уже бессознательно, большую часть спускаемой нам информации? Читаем сплошь да рядом одну книгу из сотен, одну заметку из целой газеты, один журнал из дюжины; запросто пропускаем десятки новых фильмов, смотрим лишь развлекательные телепередачи, толпимся только у одного-двух театров. Патриотизм способен вспылать в нас лишь на международных спортивных встречах. Нехватку информации восполняем кто как: чтением "Morning Star", добавлением к приемнику сверхвысокочастотного диапазона, слухами и домыслами, отключением интереса. Верим больше зарубежным источникам.

Но на одном отрицании жизнь не построишь. Мало-помалу она обрастает положительными принципами, постепенно образующими нечто цельное — культуру. Все труднее становится ее не замечать. Ее создают два, внешне мало связанных друг с другом, потока народной творческой энергии: искусство и наука.

ИСКУССТВО. Все мы помним момент, когда новое искусство совершило свой первый прорыв: явление Окуджавы народу. Внезапно перед нами открылся мир, о котором мы не подозревали. Он был не где-то вдали, а здесь, в наших душах, в наших ночных троллейбусах, в арбатских трущобах, в барабанном грохоте столицы. Мы узнали про свое богатство. Мы поняли скудость кормов, на которых нас держат. Мода на Окуджаву могла пройти, но возврата к прошлому не было. Стало ясно, что незачем ждать милостей от певцов во стане русских воинов, надо самим приниматься за дело. И первым признаком возникавшей новой культуры я считаю гитарно-песенное поветрие: как бы свысока ни глядели на него профессионалы, в нем была подлинность, непосредственность, душа человеческая.

Другим большим прорывом стал Самиздат. На наших глазах создается и ширится новая литература. Ее подъемы — проза Солженицына и Е.Гинзбург, стихи Бродского и Коржавина, — перехлестнули официальные рекорды высоты литературного гения, ее средняя продукция запросто берет на себя утоление нашего идейного голода. И это несмотря на неравные условия: тиражи — никакие, состав — самодеятельный, преследование со стороны одних и пренебрежение — других...

И вот она вырисовывается, эта новая культура — культура раскрепощения душ и чистки конюшен. Наряду с нелегальными каналами она использует и лучшее, что появляется в открытой печати, в кино, в театре. "Мастер и Маргарита", "Доктор Живаго", "Обитаемый остров", Платонов и Мандельштам — ее события. После каждого такого события целый ворох свышеодобренного чтива мы выметаем с сором, его влияние на нас улетучивается: так, появление Стругацких зачеркнуло целиком всю современную советскую фантастику с маразматической ефремовщиной в качестве венца творения; после Булгакова и Платонова вылетает в трубу 90% нынешней изящной словесности. И вот уже жалка в наших глазах стихотворная дипломатия Евтушенки; и нищетой духа расплачивается Вознесенский за те два стула, на которые он пытается усадить один тощий зад; и с усмешкой слушаем мы, как рядовые парнасской службы, в панике от девальвации поэзии, винят во всем возросшую культуру стиха.

Новая культура обильно питается посмертными соками павших гигантов 10-х—30-х гг. нашего века; но в ее затравке и классика — Чехов, Толстой и т.п. Делаются попытки подпереть ее русскими философами—идеалистами, а в своем интересе к русской древности она смыкается порой с официальными тенденциями черносотенных "Октября" и "Молодой гвардии", но, конечно, со временем перешагнет уозость казенного догмата и станет и в этом столь же враждебна державной идее, как и в остальном.

НАУКА. Тайком, из-под спуда делает свой вклад в новую культуру искусство, и в принципе мыслимы попытки искусствоведов перекрыть это течение. Не то с наукой: она действует открыто — но зато бессознательно; ни она сама, ни партийная мудрость не ведают последствий вмешательства науки в нарождающуюся культуру. И попытки помешать этому влиянию были бы напрасны.

Посторонних впечатляют результаты науки, самих ученых — методы. Наука подает заявки на новую культуру, козыряя своими достижениями, но реальный вклад делает методологией. Физик, спокойно и деловито распоряжающийся силами природы, понимает, что дело-то не в знании ее секретов и не в техническом всеоружии, а в силе методов его науки, дающих даже заурядному уму сверхъестественные способности. И ему хочется выйти со своим богатством на люди, приложить свои методы к тонкостям морали и к тайнам будущего человечества. Он автоматически переносит свои рабочие навыки от изучения обычаев Большой Вселенной к изучению нравов человеческого свинарника. Сам того не ведая, он кладет фундамент новой культуры. Представьте себе класс высокообразованных людей, вооруженных идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще — привыкших и любящих думать, а не — ездить верхом, не — играть в домино, не — пахать землю. Массовая манна небесная таких не напичкает; не всякое даже новаторское в своем кругу искусство удовлетворит их. Под напором мысли, как под лучом лазера, сгорит претенциозность новизны, проявится неинформативность, скудоумие, бедность подтекстом. Им нужна новая культура. Они сами — такая культура.

Люди такого масштаба, не видя нужной пищи, порою сами принимаются создавать ее для себя — только для себя и себе подобных — на правах эрзаца; методологию своей науки возводят в ранг жизненной философии, вносят в свой язык ее словарь, и вот десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертежных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов АН СССР, проникают на телеКВН, даже освещаются в литературе (см. "За проходной" И. Грековой). Это — перегной, но из него может при случае вырасти явление общенародного масштаба. Не в силах глубже разбирать это интереснейшее явление — оно, конечно, за пределами интересов наших социологов, — я хотел бы лишь подчеркнуть принципиальную важность вторжения методологии науки в общечеловеческую культуру — как в качестве мерила ценностей потребителей, так и в качестве творческой закваски для создателей.

ИТОГ. Колосс культуры, пытающийся сегодня утвердиться на этих двух глиняных ногах — потаенном искусстве и подсознательной науке, — сооружение еще бесформенное: оно эклектично и не сознает себя. И все это не набор разрозненных явлений, а культура — система отношений. Уже сейчас она способна охватить собою всего человека: в ней вы можете найти почти все, в чем нуждается. Уже сейчас — хотя никто не ставил перед нею этой цели — она росла как под барбором, не понимая, зачем.

Нам надо понять, зачем. Видеть ее плюсы и минусы. Уяснить ее необходимость. Обдумать направления ее развития. Поэтому я еще подчеркну то, что считаю важным.

Не считайте ее примитивным вариантом истинной культуры. Это не так. Именно она выражает наши настоящие интересы. Именно здесь простор творцам, и они есть. Именно здесь вырастут шедевры. Именно она продолжает традиции русской культуры. Поэзия последней трети XX века — здесь, среди нас, внизу, а не в художничьем стилизме вольнодумцев из редакционных коридоров. Современная музыка для народа — не на пленумах союза композиторов и не по радио, а в многочасовой магнитной тянучке интеллигентских сборищ — и в вагонах пригородных поездов. Настоящая, современная мысль — не на страницах литературных и гуманитарных журналов, а в наполнении тех отраслевых культур, о которых мы говорили. ОНИ доживают, а МЫ только начинаем. И не за

горами то время, когда на этой подпольной культуре взойдет, как на дрожжах, племя новых, цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи, как нам смешны попытки ума, чести и совести нашей эпохи овладеть нашим умом, честью и совестью.

Конечно, возможны успехи, и даже прорывы, и на традиционном пути "автор — редактор — цензура — публика". Русская культура выросла в единоборстве с самодержавной машиной и выучилась ее одолевать. Сейчас условия куда жестче, но человек хитроумнее машины, он и здесь когда-нибудь берет верх: то выскочит книга о Тынянове, то на экранах замелькает "Обыкновенный фашизм". Но то, что для НИХ исключение, у НАС правило. В состязании двух культур — одной закабаленной и самодовольной, другой свободной и неискусной — ясно, на чьей стороне будет верх.

С КЕМ ВЫ, "МАСТЕРА" КУЛЬТУРЫ? И здесь уместно обратиться к мастерам державного жанра: понимают ли они, какую роль могли бы сыграть в создании этой новой культуры? Им так часто напоминают об их долге перед народом, что не худо бы однажды и впрямь задуматься: каков их истинный долг? Понимают ли они, какие возможности открывает перед ними Самиздат? Пусть взглянут на него всерьез, как это сделали Солженицын и Сахаров; сейчас в нем много дилетантов, в ком добрые намерения превышают умение, пусть же станут с ними бок о бок профессионалы слова и мысли. Я вынужден уточнить: лживого слова и немогущей мысли. Но пусть попробуют: не разучились ли они говорить правду. Пусть пишут безымянно, если это мешает их публикациям для прокорма, пусть смотрят на это как на фольклор, задавая загадки литературоведам XXI века...

Когда думаешь о этом, невольно возникают вопросы...

...Почему живописцы стоят в стороне от движения за свободу? Где у нас свободная живопись и скульптура? Я говорю не об абстракте, не о формальных поисках — тоже гонимых, — но об искусстве, выражающем идею свободы. Или о прямых агитках, о карикатуре. Где Солженицын и Галич от живописи? Серовы и Федотовы наших дней?

...Понимает ли поэт, скрывший от народа свою поэму о Венгрии 1956 г., что на нем лежит часть ответственности за август 1968 г.? Понимают ли стихотворцы, поднаторевшие в зашифровке, что способ называть все вещи своими именами —

существует? Понимают ли писатели, что процесс, происходящий ныне в умах и сердцах думающей и чувствующей России, достоин великих мастеров пера? Пусть вспомнят Тургенева, посвятившего свои романы поиску новых людей пробуждавшейся России. Где же Елены и Базаровы наших дней? Или их и вправду нужно отдать Кочетовым?

...Почему не следуют примеру Медведева историки советского периода? Почему за общественные проблемы берется физик Сахаров? Почему теорией реализма должен заниматься Гароди, классовыми изменениями — Джилас, разве нам отсюда, изнутри, это не виднее?

...Отчего так слабо представлена в Самиздате профессиональная литературная критика, которой сам Бог велел расходиться в рукописях? Самиздат по традиции носит политическую окраску, но разве это обязательно? Власть активно препятствует любой самостоятельной мысли, даже никак не связанной с политикой, ибо неизвестно, где остановитесь вы, начав думать. Пусть Самиздат станет местом, где можно поделиться любыми своими мыслями...

...Как жаль, что почти отсутствует жанр памфлета, направленного против кого-то конкретного! Представьте себе живописные биографии самых рьяных прокуроров, самых бесчестных судей, самых вонючих следователей (вроде известного памфлета на Шейнина) и недобросовестных экспертов—психиатров; представьте себе опубликованные послужные списки лекторов-международников, академиков-философов, зарубежных спецкоров двойного подчинения, чиновников из Министерства культуры, провокаторов — ныне пенсионеров союзного значения; жизнеописания ректоров — душителю студенчества, биографии будущих вождей, скандальные подробности из жизни дохлых кроликов со Старой площади. Все это еще ждет своего автора (может быть, он выйдет из того же круга, который опишет; неужто так-таки ни одному не захочется перед смертью покаяться?!)... Уверен, что боязнь разоблачения остановит чиновника быстрее, чем безадресные вопли о справедливости...

...Словом, почему бы не попробовать превратить Самиздат в этакий бумажный Гайд-парк, где каждый волен поискать себе слушателя? Не станет ли это новым фактором нашей жизни — рынком, где обращаются новые идеи, где действуют законы спроса и предложения, где ожил и загово-

рил труп российской гласности, где с гигантской быстротой развивается то, что иначе подавлялось бы годы и годы!

РУССИШ КУЛЬТУРИШ, ИЛИ ПАРЕНИЕ НРАВОВ

Кроме высокой культуры, ведущей общество к прогрессу (или наоборот), существует и культура будней, ведущая человека в пивную (или наоборот). Спустимся же с высот на землю. Утверждается, что и здесь в ходу принцип "без нас". Это не заслуга Самиздата и тем более — не растленной империалистической идеологии. И новая культура общества, и новая культура индивида — все это, как уже отмечалось, порождение нашего образа жизни, следствие двух законов природы: "действие вызывает противодействие" и "природа не терпит пустоты".

Не задумывались ли вы над причинами роста среди населения явлений, не носящих политической окраски, но тем не менее нежелательных для власти? Речь идет о таких разнородных, разнопричинных вещах, как аполитичность, религиозность, национализм, падение дисциплины труда, пьянство, хулиганство и т.п. У каждой из них свои причины, да не одна, а много; но я подчеркну сейчас ту их сторону, о которой обычно не упоминают: что все это в той или иной мере — бегство от казенной идеологии. Люди ищут — кто в Боге, кто в вине, а кто в национальной гордости — то, что не в состоянии дать им ежедневная жвачка. Власть не умеет остановить рост этих явлений и никогда не сумеет, ибо сама их порождает.

Общество лишено какой-либо самостоятельности (кроме художественной), под надзор взято все, от филателии до кроссвордов, не допускается даже такая безобидная форма деятельности, как общества трезвости. Что уж говорить о контроле населения над распределением дефицитных товаров, над приемом в вузы или о присмотре за содержанием тюрем, за произволом милиции и таможен, за выгодностью внешней торговли. Районная газета пишет о землетрясении в Чили, но не об обвале в местной шахте и даже не об отсутствии вот уже полгода велокамер в местном магазине. В этих условиях общественные инстинкты людей гаснут; в лучшем случае мы ищем удовлетворения в работе, в семье или на трибунах стадиона; не находя, идем в сектанты (давний способ борьбы

русского народа с единой и неделимой мудростью), в пивную, по бабам, в подворотню... А у многих отсутствие действительного идеала выливается в исповедание "вещественной" культуры, когда человек способен разговаривать лишь на языке автомобилей, магнитофонов, вузовских дипломов и индивидуальных огородов. В этом бездуховном качестве он превращается в надежную опору и идеальный объект воздействия официальной идеологии.

С нашей позиции — а мы себя зачислили в прогрессивные интеллигенты — все такие штуки — загиб и заскок. Пьем мы в меру, политика нас задевает, в Бога мы не верим, признаем известные плюсы и за другими нациями. Про нас, трудовых интеллигентов, говорят, что мы люди, привыкшие думать одно, говорить другое и делать третье. И это совершенно верно, тотальная демобилизация морали коснулась и нас.

И все же все не так худо, как могло бы быть. Как-никак, кремлевские мечтатели предпочли бы, чтобы мы думали, говорили, и делали только одно: третье, а у нас есть и первое, и второе. Выходит, осталось в нас живое, примитивное, еще от обезьян, творческое начало, внутренний источник этики и гуманизма. Свободное падение нравов налицо, но до доньшка еще далеко. Я бы вообще заявил, что падение перешло в парение. Судите сами.

Да, сплошь да рядом спаянный коллектив какого-нибудь НИИ, зная своих штатных доносчиков, здороваются с ними, избирает их в свои месткомы и пьет с ними на 1 Мая за одним столом, стараясь только не болтать при них лишнего. В начале XX века такое существо в два счета вылетело бы со службы, затем из клуба, где оно играет в карты, и из города, куда его поселили. Падение нравов — бесспорно. Но в том же коллективе могут годами ходить по рукам запретные рукописи!

Да, в 70-х гг. XX века стало не стыдно быть анти-семитом — вещь, немыслимая для интеллигента 10-х гг.; когда на приемных экзаменах в ВУЗ надо завалить несколько дюжин юношей-евреев — в добровольцах нехватки нет; и все же, согласитесь, урожай на ниве человеконенавистничества явно не отвечает количеству удобрений, распыляемых с партийных высот: результат слабее зловония.

Партия превратила ложь и клевету, наговоры и недоговоры в такую же реалию быта, как метро, такси, очередь за

кофточками. А мы все равно врать не любим, дела клеветой не решаем, рвемся к ясности и логике.

Партия вынуждена была открыто отказаться от пресловутого единодушия в пользу двоедушия: "думай как хочешь, но говори, что положено, голосуй, как велено". Но нет ли в этом признания провала: значит, ее идеи настолько вне-человечны, что она не смеет пробить их в быт?! Они открыто рассчитаны на трибуну, а не на индивидуальное пользование, их шкурный смысл ясен даже школьнику.

И так во всем. Власть, скажем, возвеличивает отце-предательство, возводя в чин великомученика Павлика Морозова, — а мы предпочитаем в этом пункте домостроевские принципы. Или — наша ходовая мораль позволяет нам таскать с работы радиодетали, цемент, кровельное железо, — но ворами мы себя не считаем, ибо не украдем у ближнего своего (и не возжелаем жены ближнего своего, если она сама этого не возжелает).

Словом, всюду, сами по себе, возникают две морали — для себя и для общества, — поскольку последнее претерпело отчуждение от людей... Это во всех слоях: среди рабочих, интеллигентов — всюду.

Происходит это чаще так же естественно, как трава на пустыре растет. И выливается зачастую в антиобщественные формы что хорошего в пьянстве или шовинизме? Но больше становится и таких, кто сознательно, действительно противится казенному разврату. Медленно, но верно идет в нас выдавливание рабской психологии; многие, опасаясь за свое благополучие, не выказывают себя въяве, но общее настроение интеллигенции бесспорно: она тяготится раздвоением мыслей и поступков, сочувствует жертвам произвола и сопротивляется скатыванию в цинизм. Сколько есть таких, кто стремится очеловечить подвластный им участок работы, противопоставляя логике первого отдела логику добросердечия или, на худой конец, — элементарных деловых отношений!

Конечно, хотелось бы большего: чтобы против оккупации Чехословакии выступили не десятки, а тысячи, чтобы судебный произвол, милицейская расправа над крымскими татарами встречались дружным воплем возмущения — или шелестом высокогражданственных петиций. Но что поделать, время этому не пришло. Верно сказано: у каждого народа тот

режим, какой он заслужил. В этом смысле мы сами и наш режим — два сапога пара; и все же внутренней гнили в нас, в отличие от другого сапога, не видать: мы принимаем близко к сердцу позор своей родины; среди нас, внизу, подонков почти нет; мы не торопимся пополнять собой вакансии шкурников, осведомителей, продажного товара всех сортов (хотя, говорят, очередной набор охотников зимой прошлого года прошел успешно). Те загибы и заскоки, о которых говорилось в начале главы, среди нас не получают распространения; наоборот, идет — явочным порядком — активная работа по созданию новой морали. Правда, эта работа — внутренняя; но на то это и мораль, штука деликатная, погодите, дойдет и до дегтя на воротах...

РАБОТА В РЕЖИМЕ УГНЕТЕНИЯ, ИЛИ ОТ СУБЛИМАЦИИ К КОНСТИТУЦИИ

Мы доказываем возможность существования внутренней свободы в условиях режима угнетения; технология выработки такой свободы — в формуле "без нас" на первом этапе и в создании вневеликодержавной культуры — на втором. Но читателя, не исключено, тянет ко свободе внешней — свободе от угнетения; ему хочется справедливости, гласности, гуманных законов и даже, чего доброго, соблюдения этих законов! Конечно, грустно интеллигенту, путем сублимации дошедшему до состояния внутренней свободы, низводить себя до практической деятельности, неизбежно огрубляя тем самым достигнутое духовное совершенство. Но на что мы не пойдем ради народа!

К счастью, на первых порах больших жертв не предвидится: все та же тактика "без нас", то же "культурное строительство", — но сопровождаемое усилиями по распространению этой культуры среди народа. Надо просто искоренять рабскую психологию не только в себе, но и в других. Придумывать способы для этого. Если прямые способы будут непонятны, искать обходные — но надо видеть свой долг перед народом в том, чтобы внести в него понимание того, до чего мы сами дошли. Я убежден, что создание внегосударственной, антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной — той, что могла бы стать обиходной

формой жизни миллионов. Представьте, что все мы перестанем продавать себя задешево, что откровение о примате личности над государством пронесется по российским градам и весям, изумляя народ своею простотой, — что тогда останется от нынешнего прижима?

От таких слов отдаёт фантазерством. Но, во-первых, другие пути еще более утопичны, за них еще надо бороться, а этот — уже протоптывается, надо только понять это и ломить в нужную сторону. Не выйдет ломить — так исподволь толкать! А, во-вторых, именно на таких-то путях и достигается свобода. В этом убеждает нас история: так возникли США, так свергла уже однажды самодержавие Россия.

Задумывались ли вы, читатель, над одной характерной чертой развития России в годы 1855—1917? Это время огромных перемен: освобождение крестьян, реформа суда, земское самоуправление, экономический взлет, создание нынешней сети железных дорог, рождение интеллигенции, свобода печати, возникновение российской демократии и общественной самодеятельности. Оставим в стороне очевидные экономические причины. Другой причиной было распространение идеологий, соперничавших с официальной; поток казенной мысли мало-помалу потерялся в переплетении других русел. Они зачастую исключали друг друга, и это казалось их приверженцам главным, но они в первую голову не совпадали с основным державным руслом — и это-то было главным на самом деле, как мы теперь понимаем. Под напором самостоятельной мысли никли те единственные и истинные первоначала, которые одни могли охранить режим. Его разъедало изнутри: русская литература, общественная критика, обаяние свободного мышления проникли повсюду, вплоть до Зимнего, и воля была дана крестьянам не только потому, что они ее хотели, но и оттого, что дворянам стало стыдно иметь крепостных; сам император объявил Тургеневу, что именно после "Записок охотника" он поклялся освободить крестьян.

В таком изложении нет привычного нам подчеркивания роли революционных тенденций в изменении облика России, и это неслучайно: революционная борьба была лишь крайностью в общем скатывании России с высот самодержавия в трясину демократии, была следствием, а не причиной, и реальное ее влияние на скорость скатывания ничтожно вплоть до одной

даты: 25 октября 1917 г. Что-то она ускоряла, что-то отсекала, но все нужное происходило и так; даже в революциях — 1905 г. и Февральской — политические партии были моськами, громким лаем извещавшими подымавшегося гиганта — народ — о своем существовании; истинным же героем истории было в ту пору общественное мнение. Главное было не на виду, а под спудом: каждое новое поколение в эти годы сильнее чувствовало свое человеческое достоинство, все острее жаждало справедливости. Не схватка классов и партий, а рост личностей определяет собою в наших глазах эти годы. Не партийные съезды, а уяснение ценности человека.

Поэтому марксисты не поняли роли 9 января: не в том было дело, что пошли с петицией, а в том, что осознали свое право говорить с царем на равных. Каждый в той темной толпе просителей ощущал себя личностью (ощущаете ли вы, читатель, себя личностью на партсобрании?).

Мало кто это понимал тогда. Но были, кто понимал.

Давно истлели имена критиков, клеивших Чехову аполитичность и прочие бесспорные ярлыки. А сам Чехов с каждым годом все современней: он видел дальше партий и течений, выше революций — человека, его достоинство, его личность.

Давно отшумела, изошла кровью, покрылась мишурой и ржавью та революция, чьим зеркалом был Лев Толстой, — а сам он жив, ярок и единственен, и мы, ценой десятков миллионов жизней, начинаем постигать смысл его смешных, наивных, никудышных слов о том, что зло злом не исправишь.

И больной Достоевский не устает напоминать каждому новому поколению, что жизнь никому не нужной старухи ценнее всех высоких принципов. Нет, реальные достижения России столь же мало обязаны героизму революционеров или идейным метаниям партии нового типа, как и победам русского оружия.

И только ли Россия? Взгляните на Запад: он обошелся последние полвека без крайностей, без бунтов и революций, и медленным шагом, мелким зигзагом обошел на повороте нашу одну шестую, зажегшую перед миром новую зарю. У нас лилась кровь, белые и красные истребляли друг друга, уничтожалось кулачество как класс, разоблачались враги народа, громили космополитов, клялись классовой борьбой, вспахивали следовую полосу в 10 000 км длиной, бетонировали пусковые

площадки; а гнилой Запад затушевывал противоречия между трудом и капиталом, смягчал нравы, вел жестокую борьбу... за парламентские кресла, превращал оппозицию в оппозицию Ее величества, отпускал колонии на волю; рваческий пусковой период капитализма постепенно сменялся пониманием того, что рабочего в штанах выгодней эксплуатировать, чем работягу без штанов, а из рабочего в "фольксвагене" сосать кровь и того прибыльней... Реформы, реформы — и вот вам результат: неоспоримая корреляция между степенью политических потрясений и уровнем жизни: вырвались вперед народы с мягким правлением — скандинавы, швейцарцы, австрийцы, бенилюксы; отстали — с режимом угнетения: наши сателлиты, испанцы, греки. Спор двух марксистских течений, социал-демократии и коммунистов, также может быть легко решен тем же путем: сравните уровень жизни там, где у власти находятся долго представители этих течений.

И, наконец, свежий пример торжества чувства человеческого достоинства над обанкротившейся бюрократией — Чехословакия. Фальшивая политика Новотного, утрата режимом человеческих черт были, видимо, особенно тяжки народу, еще не позабывшему о понятии личной чести и достоинства; это сделало несотрудничество главной чертой предьянварской Чехословакии. К чести КПЧ, она разделила общую неудовлетворенность и нашла в себе Дубчека. Не понадобились ни тайные заговоры, ни новые партии; не кучка революционеров, а весь народ не желал жить по-старому, это нежелание оказалось причиной, достаточной и для свержения своры сталинистов, и для мирного развития демократических форм жизни пражским летом 1968 г., и для поразительного единства под каблуком оккупации. О такой внутренней пружине изменений можем мы только мечтать.

Число таких примеров можно было бы умножить. Я их привел для того, чтобы прояснить главную мысль: свобода внешняя не может возникнуть без свободы внутренней, возникнуть *прежде* нее, возникнуть в толпе особей, не сознающих себя личностями. Внутреннее освобождение есть необходимое (понимаю, что недостаточное) условие свободного общества. Стаду свобода не нужна...

СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЫЙ, ИЛИ ПРОПАГАНДА "ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЛИКА"

Итак, предлагается попытка повторить эволюцию общественного мнения, уже однажды проделанную в России. Теперь, конечно, труднее, ошибки царского правительства учтены, значение идеологии понято: цензура жестче, окна в тюрьмах меньше, наказания суровей, гнет организованнее, кто не с нами, тот против нас, и т.д. Прежде народ был необразован — это мешало деятельности смутьянов, но оставляло его невосприимчивым и к официальной идеологии; ныне народ полуобразован, он уже откликается на прямой смысл газетных перезвонов, но еще не понял, по всему видно, их подспудного смысла, он ощущает свою принадлежность к России, — и это хорошо, — но не понял еще, что и Россия принадлежит ему, он усвоил понятие о врагах внешних и внутренних, овладел идеей ненависти к инакомыслящим, — но до идеи равноправия всех граждан, независимо от их мыслей, а тем более до идей любви и братства, еще не добрался (в дни суда над Синявским и Даниэлем редакции газет были засыпаны десятками тысяч требований расстрелять изменников). Полуобразованность хуже необразованности, это давно известно.

К счастью, это зачастую не полуобразованность обывателей, она оперирует именно теми понятиями, которые нужны для создания новой культуры общественных отношений, — только переиначенными так, как нужно нашим гегемонам. Слова нужные в народе есть, он их понимает, это облегчает нашу задачу.

Кроме того, и у нас есть опыт, мы можем избежать ошибок вековой давности. Мы не будем, например, надеяться на власть, что она выдаст нам положенную пайку свободы. В условиях монолитной партии это все равно невозможно, она умеет возводить гати на реках и одолевает врагов, — но сделать свободным отдельного человека не в состоянии. Мы не будем строить планы создания новой массовой партии ленинского типа, мы знаем, что такая партия, свергнув один гнет, заменяет его новым, это заложено в ней с самого начала, в ее требовании дисциплины и единства.

Вместо этого предлагается работа по вытеснению в народе официальной идеологии новой, более гуманной, более

терпимой. Из предыдущего могло сложиться впечатление, что работа эта чисто внутренняя: отречемся-де от старого мира, отряхнем его прах с наших ног и примемся развивать в себе новый просветленный взгляд, приведем его в систему, назовем культурой и будем ждать, пока с другими то же произойдет. Как при царе главным агитатором за свободу было само самодержавие, так и у нас сам строй постепенно сплотит против себя весь народ.

Но было бы жалко, если бы эта надежда на самотек неотъемлемо вошла в ту систему воззрений, на которой мы хотим возвести здание новой культуры: она обрекла бы нас на пассивность, равнодушие, трусость в конце концов.

Понимая это, мы могли бы поставить перед собою цель воспитания в себе самоотверженности и стойкости, чтобы прямой борьбой, своим примером, ценой своей свободы и жизни прокладывать для остальных путь к свободе и жизни. Это именно тот путь, по которому в последние годы шла лучшая часть интеллигенции: путь открытого протеста против нарушений прав человека. Значение таких поступков огромно. Но этот путь не может стать массовым: слишком жестоко расправляется власть с малейшим протестом.

Идея автономной культуры подсказывает нам третий, промежуточный путь: надо нести эту культуру в народ. Пропагандировать ее. Помогать людям осознать, что на самом деле у нас происходит. Обличать несправедливость — вообще и применительно к каждому. Так мы перефразируем известное положение нашего гениального учителя о привнесении научного общественного сознания в низы сверху.

Этот путь не зачеркивает прямой борьбы с бесправием. Но он потребует от нас иных качеств, в первую очередь не отваги, а дара убеждать и прояснять, уметь долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей. Нужна спокойная, хорошо скрытая, но целеустремленная деятельность по разрушению казенных канонов, по разъяснению окружающим истинного положения вещей, по пропаганде нового сознания. Нужна работа не с массами, а с отдельным человеком. Так работают сейчас сектантские проповедники, и работа их видна, сектанство на Руси ширится! Неужели мы, цвет мыслящей России, имея за душой убежденность и объективную правоту, владея мировоззрением, которое выросло из достижений передового искусства и

современной науки, не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии? Мы находим с нашим народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке; надо перенести это умение на другие, более существенные темы. Надо искать конкретные формы этого "хождения в народ", заботясь об их действенности и долговременности. Это потребует от рядового положительного интеллигента выйти из своего семейного мирка и круга знакомых, которых нечего агитировать, они и сами все понимают. Так или иначе, я хочу здесь подчеркнуть, что делу освобождения России нужны не только трибуны и подвижники, но и умелые агитаторы, красноречивые проповедники, ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры, да и просто люди, ищущие правды, но не про себя, а вслух, посвящая ближних своих в свои сомнения.

Такая деятельность важна не только для нас. Она — ради будущего наших детей: может быть, наши усилия отменят уготованную им участь атомного мяса. Понимаем ли мы, что в создании той атмосферы ненависти, подозрительности, предсмертия, нависшей сейчас над миром, нам принадлежит почетная, хотя и не единственная роль? Будь у нас народовластие, мы бы могли, отказавшись от амбиций непогрешимого первопроходца будущего и жандарма Европы, помириться с американцами (кто помнит, чего мы с ними не поделили?) и внести на планету мир и покой. При таких перспективах процветший у нас режим коллегиального самодержавия — недоразумение, анахронизм, пятно на репутации народа. С проступившим на лбу старым клеймом "нация рабов" мы не смеем решать судьбы мира. Это дело надо переиграть. Надо искать пути для этого уже сейчас, в эпоху торжества милицейского государства при равнодушии народа, при невозможности немедленных перемен.

Прием, который я пропагандирую, — это отделение — явочным порядком — культуры от казны, распространение этой культуры, многообразие живых потоков, в разные стороны разбегающихся от тоталитарного муравейника. Этот путь нескор, но надежен: он опирается на самое прочное в мире — на ценность отдельного человека. Его первые версты: бойкот, неучастие, игнорирование.¹ Постепенное увеличение

¹

Ср. стихотворение Г.Копылова "Монолог американского битника"

массы людей, перешагнувших через гниющую тушу родимой идеологии, не удовлетворенных газетным скудоумием, унификацией мнений, беззащитностью своего счастья перед изгибами генеральной линии — тех, кто уже понял государственную важность личного достоинства, воспитывает своих детей в должных правилах морали, активно вырабатывает и пропагандирует новые гражданские ценности: терпимость, жалость, доброту, самоотверженность, и тех, кто высмеивает то, что отжило, — это главная сила, которая сможет создать в нашей стране общество, свободное от угнетения и от ненависти.

1970 г.

* * *

Статья "Как быть?", широко распространявшаяся в самиздате, была подвергнута резкой критике А.Солженицыным в его знаменитой статье "Образованщина", вошедшей в сборник "Изпод глыб" (YMCA-Press, 1975 г.). А.Солженицын, в частности, писал:

"В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в Самиздат статьей Семена Телегина (разумеется, псевдоним) "Как быть?". Тон — бодрого напористого всезнайки, быстрого на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде "русиш культуриш", то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши ("человеческий свиначник"), то — пафосными зачинами: "А задумывались ли вы, читатель?". "Творческое начало, источник этики и гуманизма" автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает "трибуны стадиона", худшим — "в сектанты".

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчетливо: "прогрессивные интеллигенты" (состоящие в партии, ибо сживают на партсобраниях и руководят "отдельными участками работы"), "мы — цвет мыслящей России", кто "создает свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях". "Представьте себе класс высокообразованных людей, вооруженных идеями современной науки, умелых, самостоя-

тельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а н е ... пахать землю”...

Именно в статье Телегина “цвет мыслящей России” адекватно и очень откровенно выразил себя...

В теплых светлых благоустроенных помещениях НИИ ученые-“точники” и техники, сурово осуждая братьев-гуманитаристов за “прислуживание режиму”, привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за нее спросится историей. А ну-ка, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресеклась бы наука? Нет, империализм. “Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной”, — уверяет Телегин, — да к а к же это себе вообразить? Полный рабочий день ученые (с тех пор, как наука стала промышленностью, — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают *вещественную* если не “культуру”, то цивилизацию, именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют и соглашаются и повторяют, как велено, — и как же такая *культура* спасет всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы *племя* гигантов хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать “отраслевую подкультуру” и ковать “могучую методологию”...

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. “Ohne uns!” — восклицает Телегин. Верно. “Не принимать культуру угнетателей!” — верно. Но: когда? где? и в чем не принимать? Не в гардеробной после собрания, а н а собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в т о м кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там “культуру” отвергать? Никто и н е навязывает “культуры”, навязывают ЛОЖЬ — и всего-то *лжи* нельзя принять, *но тотчас*, в *тот* момент и в *том* месте, где ее предлагают, а не возмущаться вечером-дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — *тотчас* и не думать о последствиях для своей зарпла-

ты, семьи и досуга развивать "новую культуру". Отвергнуть — и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянута к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия увильивает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов".

Еще до написания "Образованщины" А.Солженицын выразил свое отношение к статье "Как быть?" в коротком письме "Сомнения читателя". Это письмо (без подписи) было передано Г.Копылову. Судя по дате ответа Г.Копылова, письмо А.Солженицына было написано весной 1970 г. Приводим текст этого письма:

СОМНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

В чем (пока) "приложение физических методов к общей культуре"? В том, что ученые остро фрондируют в курилках? А полный рабочий день выдают по заказам страшнейшую если не культуру, то "цивилизацию"? (Само собой — везде голосуют и прилично соглашаются). Такая позиция лишает их права критиковать художников, гуманитариев и т.д. Их "безобидная" повседневная деятельность не менее страшна. Ученым много дано, но и много с них (историей) спросится.

Не очень ждите "гигантов" на дрожжах от вторжения методологии физики в общую культуру. Не всякой области всякая методология сродна. Ученые всегда предлагают "интеллектуальное общество". А это опять однобокий урод.

Что же такое внутренняя свобода? По автору: шиш, показываемый в кармане, есть уже внутренняя свобода и преимущество сегодняшней интеллигенции. Нет, внутренняя свобода это способность к *действиям*, не зависящим от внешних пут. (Внешняя свобода — когда пут нет).

"Выдавливать рабскую психологию из народа" — а из себя когда? а из ведущих академиков — когда?

Программа "пропагандировать человеческую ценность" будет 100 раз обогнана событиями атомного века.

Г.Копылов написал на это письмо ответ:

Уважаемый Александр Исаевич!

Мне сперва сообщили, что вы хотели бы поговорить со мной. Потом донеслось, что все это зависит от того, как я отвечу на ваши вопросы. Это условие настолько выходит за обычаи людей моего круга, что и я решил пренебречь этими обычаями и ответить.

1. Сомнение в праве ученых критиковать гуманитариев.

Согласен, что деятельность и ученых, и литераторов на державной ниве страшна одинаково: одни готовят бомбу, другие — бомбометателей. Но ученому не приходится лгать на рабочем месте: он, конечно, лжет, когда закрывает глаза на употребление, которое будет сделано из цветов его ума, но трудясь — бесстрашен и честен, ищет истину и только ее. Его труд требует от него ясности и прямоты; в том, что сильнее всего формирует его личность — в будничной борьбе с объектом своего труда, — он не испорчен. Литератор же именно в этом пункте гнил, лжив, лицемерен, ломает себя тем больше, чем яснее понимает то, о чем пишет. Дух ученого здоров в своей основе: он опирается на бесспорную истину, законы природы; дух художника исковеркан, ибо опирается на бесспорную ложь: законы общества. Это я и имею в виду, говоря о "приложении научных методов к общей культуре". Культура должна делаться здоровыми людьми. Стоящими на реальной почве. Верующими. Трезвыми. Укажите-ка, кроме ученых, у кого еще из интеллигентов в основе их дела лежит трезвый, безоглядный поиск правды, кому не нужно приспособливаться в главном. Короче говоря, хотя физики тоже конформисты, но — в нерабочее время.

Второе (и переход ко второму вашему сомнению). Человеку надо во что-то верить. Для опоры. У ученых эта опора есть: научные истины. Что нынче еще в мире осталось неизблемого? На что вы обопретесь? На Бога? А может, его все-таки нет? Да захочет ли он еще, чтобы на него всякие там опирались? На святые идеалы? Так и ваши злейшие враги стоят на них же. А на аддитивность амплитуд опереться можно, она бесспорна, она красива, ее стоит обдумать, это — дело для женщины; и она не трюизм, следствий из нее в

жизнь не переберешь, и на нее приятно жизнь угробить: с нею чувствуешь себя человеком, в полную силу живешь, с отдачей, с отчаянием и торжеством; с верой в то, что это не ложь кому-то на потребу, а кусок реальности; она — взаправду, как жизнь и смерть, как маленькие дети, как самоубийство от неразделенной любви.

Это не значит, что всем надо верить в ДНК. Верьте во что хотите, но знайте, что есть люди, которые верят в подлинно существующее; их методология — не вранье; взгляните в их культуру — отражение их методологии, — может быть, вы в ней найдете то, чего не хватает гуманитарной культуре. И это вовсе не будет "интеллектуальное общество". Никто лучше ученых не знает, что интуиция главней интеллекта; что истины рождаются сперва в подсознании; что человеческое общество на разуме покоить нельзя. Методология физики не в том, чтобы мерить, а не верить, — а, в частности, в том, что "довлеет дневи злоба его", т.е. всякому предмету — свой метод, понятия должны вытекать из свойств объекта, а не из наших пристрастий, не на всяком языке может быть высказана истина, есть языки, которые способны только лгать. И т.д.

Это я ответил на сомнение № 2.

3. Насчет внутренней свободы и шиша в кармане.

Вполне согласен, что от этого шиша до способности к действиям — дистанция. Так ее нужно пройти. Если вы сегодня потребуете от интеллигента действия, — то и получите шиш, только не в кармане. На Лобное 25 августа 1968 г. вышло 6—7 человек — вот наша с вами способность к действиям. Время еще не подоспело. А вот людей с кукишами в кармане — со свободным, собственным мнением — нынче тысячи и тысячи. 20 же лет назад и таких было столько, сколько сейчас — способных жертвовать собой. Нынче пора кукишей в кармане, вот и вы пишете "Сомнения читателя" без обращения и подписи; и никто вам это в упрек не поставит; и я ставлю под статьей выдуманную фамилию, иначе следующей статьи не будет. В этой статье ищется путь, как перейти от кучки понимающих к массе прозревших, тем самым породив и кучку действующих. Последние и будут в наших глазах гигантами.

4, 5. Сомнения 4 и 5 высказаны вами в запальчивости.

4. В статье как раз много говорится о том, что мы бессознательно выдавливаем раба из себя, и что этого мало, надо делать это с сознанием и в народ с этим идти.

5. Насчет атомной войны. — *Все мы под Богом ходим.*

15 мая 1970 г.

С/емен/ Т/елегин/.

Неизвестно, было ли отправлено адресату это письмо; нет также сведений о разговорах и встречах Г.Копылова с А.Солженицыным.

* * *

Впервые статья "Как быть?" опубликована под псевдонимом "Семен Телегин" в журнале "Вестник РСХД" № 103, 1972 г. В настоящем издании исправлены некоторые ошибки этой публикации.

В начале статьи приводится цитата из открытого письма Андрея Амальрика писателю Анатолию Кузнецову (1969 г.)

ЛЕТО 1969

Столетие со дня зачатия господа бога нашего человечество отметило с помпой невиданной: в этот год человек впервые ступил на поверхность другой планеты. //Не бог весть какой — Луны — а все-таки другой.// Как ни странно, это был не русский; пионер в освоении космоса так и не вышел за 12 лет из пионерского возраста; американцы и тут обошли //своего крикливого могильщика//.

Они, впрочем, уже давно обошли, еще когда считалось, что мы впереди; большая часть научных открытий в космосе была сделана ими; в момент первого облета вокруг Луны преимущество стало совсем ощутимым: космос, вместо того, чтобы быть опоганенным посредством приветствия партии и правительству, услышал тогда торжественные стихи Книги Бытия...

А Армстронг теперь припечатал...

Осознаём ли мы, что лето этого года — первоначальное? Что с него начинается новая эра? Что 1969 г. как 1492: мир раздвинулся, весь космос лежит перед нами, все люди от Сибири до Самоа стали земляками друг другу.

Вряд ли осознаём; законы перспективы (исторической) действуют только в прошлое; и меньше всего осознаём это мы, жители одной шестой. В 1492 г. мир стал вдвое больше для всей Европы — кроме России; ей это было ни к чему; она в это время... даже не знаю, что она в это время делала, ведь к тому времени даже Ивана Грозного еще не изобрели; и понадобилось 200 лет интенсивного развития (Иван, смуты, самосожжения, самодержавие), пока Петр — наш Колумб российский — открыл для нас Европу. В 1969 г., судя по всему, история повторится: до открытия Луны мы не доросли; не видать и проблеска нового горизонта, не слышать и намека...

В двойных косых скобках — зачеркнутое автором. Отрывок написан накануне 100-летия со дня рождения В.Ленина, сразу после высадки "Аполлона-11" на Луну.

**АВГУСТ 1972 г.,
или
ТОРГОВЛЯ ЖИВЫМ ТОВАРОМ**

Дымом лесных пожаров дышит в этот август Россия. В дыму Ока, в дыму Волга, дым вздымается над Домодедовом. Огонь торфяников ползет к Ярославлю и Горькому, ходит холера по Астрахани, в Придонье жирует колорадский жук; железное жало жары лижет урожаи Поволжья. Жухнет картофель. Пусты в провинции прилавки магазинов, перебои с молоком, солому скоту везут с Кубани. В поисках хлеба генсек колесит по Сибири, призрак тощего года маячит перед нами. Казни египетские обрушились на Россию.

И вот уже идет молва, что это еврейский Бог мстит за жестокое обращение с избранным народом. Как в древности послал Он казни на фараона египетского, не отпускавшего евреев в землю обетованную, как, чтобы отомстить за гонения евреев, подсказал Он Гитлеру безумную мысль напасть на Россию, как задушил Он Сталина в тот самый миг, когда уже тысячи теплушек были готовы спасти в дебрях Якутии "народ-предатель" от праведного гнева советского народа, как разразил Он в 1967 г. полчища фанатиков, прежде чем они обрушились на Израиль, — так Господь Бог наш определил народу русскому меру казни его за то, что не видит он человека в братьях своих.

Но нам, передовым людям XX века, смешон такой толк. Да если б мы и приняли его, разве не выросли тысячекратно силы наши, давая перед фараоном преимущество в борьбе со стихиями! Разве не можем мы взорвать торфяник и тем убить пламя? Разве затруднит нас купить на миллиард американского хлеба и тем избавить население от хлебных карточек... и от мысли поставить над собой иную власть? И кто сказал, что пришла пора определять меру казни народу русскому, когда не исчерпана мера, какую способен уплатить советский еврей?

В самом деле, не рано ли Господь Бог забеспокоился о народе Своем?

Советский еврей — выносливый еврей. Он вынес травлю космополитов в 1949 г. Он вынес травлю врачей-отравителей в 1953 г. Он переносит запрещение изучать родной язык и

родную историю, как перенес когда-то закрытие школ, газет и театров, убийство поэтов и артистов. Он спокойно, не выдавая своих чувств, читает ежедневно оскорбительную клевету, которой подвергается народ Израиля. Он запросто переносит жесткую процентную норму приема в институты — и процессы "самолетчиков"; многомесечные поиски предприятий, где бы его решились принять на работу, — и пресс-конференции генерала Драгунского; избиения у памятника героям Плевны — и профанацию кладбищ и мест массовых расстрелов. Он приучается скрывать свое неарийское обличье, и стал в братской семье народов единственным, чья численность падает.

Выносливости ему не занимать. Ведь при всем том он чувствует: наша родная партия реализует отнюдь не все, на что способна. На работу еврея не берут, — но с работы не гонят; в университет сына не устроишь, — но в рыбный институт можно попробовать; в ЦК евреев нет, зато в Академии Наук их избыток. Чистки, погромы, Хатыни — до всего этого — тьфу, не сглазить бы — еще не доходило. Как-никак, у того сталинизма, под которым мы нынче ходим — человеческая маска.

Российский еврей — выносливый еврей. Это высококачественный еврей. Живя в тех же оскорбительных условиях, что и весь советский народ, испытывая сверх того гнет расовый, страдая от крестинизма власть имущих, желтизны газет и бдительности пенсионеров, вынужденно жертвуя национальным чувством, — он умудряется не терять лица и достоинства, работать со вкусом и азартом, то и дело перечеркивая своим человеческим талантом отведенные ему черты гражданской оседлости. Это отметил еще создатель советского государства великий Ленин, произнеся такие, как всегда бессмертные, слова: "Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови" (слова эти приводит Максим Горький в первом издании очерка "Владимир Ленин", журнал "Русский современник", 1924 г., № 1, стр. 241). А сам создатель (на место русской литературы) литературы социалистического реализма высказывался еще более расширенным образом: "Я несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда, любовью

"делать" и способностью любоваться делом. Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться..." (М.Горький, Несвоевременные мысли, "Новая жизнь", № 106 (321) от 2 июня (20 мая) 1918 г.).

Именно с этих предначертанных Лениным и Горьким позиций мы намерены исследовать новый миролюбивый шаг советского правительства: таксу на выезд в Израиль. Перед нами новая статья экспорта — экспорт евреев. Мы вдруг поняли: наряду с нефтью, газом, лесом Россия владеет еще одним естественным богатством — евреями. Было бы грешно в эту годину разгула стихий и нехватки валюты не подумать о благе народа. И выбросили на международный рынок новый товар. По цене с головы — дальше следует такса (цифры приблизительные, по слухам):

Неученый еврей	— 900 р.
Еврей-учитель	— 4500 р.
Еврей-инженер	— 7700 р.
Еврей-артист	— 9600 р.
Еврей с университетским дипломом	— 6000 р.
Еврей с дипломом МГУ	— 12000 р.
Еврей кандидат наук (сверх этого)	— 5400 р.
Еврей доктор наук (сверх этого)	— 7200 р.

Эта такса впечатляет. Примерив ее к себе, невольно проникаешься к самому себе внезапным уважением. Не правда ли, мы не привыкли ценить себя столь высоко? "Выдали бы на руки хоть половину, — мелькает мысль. — Так сказать, сухим пайком, за то, что не уезжаем". "А почему тогда русский? — мелькает другая мысль. — Где же равноправие наций? Опять евреи вперед пролезли? Почему им можно, а нам нельзя?". "А нет ли наценки на трудовой стаж? — появляется третья мысль. — На членство в КПСС? На секретность?"

Эта такса и вправду впечатляет. Умом ее, как Россию, не объять. Общепринятыми моральными единицами ее не измерить. У ней особенная статья: в нее, как в Россию, надо сперва поверить. И это самое трудное. Да, конечно, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами, но оборачиваться к миру столь азиатской рожей? Да, бесспорно, от нашей тройки постораниваются другие народы и государства.

Но чаевые ямщику, чтобы прыгнуть на ходу? Нет, это Гоголь не смел и помыслить. И Лермонтов, уж на что странною любовью любил отчизну, вряд ли представлял себе, глядя на пляску с гиканьем и свистом, что мужик, прогнав барина, сам затеет торг людьми. И кто вообще мог в мыслях себе вообразить, что придет то времячко, когда мужик не Белинского и не Гоголя, а деньги за жиловина с базара понесет? Один только Николай Гаврилыч о чем-то таком смутно погребивал, но об этом после.

Конечно, официально это не такса, а "налог на образование". Дескать, верни-ка наши кровные — и убирайся на все четыре стороны. Это, конечно, предлог лживый, ибо обучение специалиста окупается в 3—4 года. После этого они с казною квиты. Этот предлог основан на идее, которую усиленно вбивают в нас: что мы — должники государства ("народа"). Так в давние годы считалось, что хозяин кормит рабочих, а барин благодетельствует крестьянам.

На самом деле наша страна — должник любого из нас, ибо нашим трудом, трудом отдельной личности создаются материальные и духовные ценности. Взимаемая с нас родиной прибавочная стоимость столь велика, что позволяет чуть не половине трудоспособного населения тунеядствовать. Каждый из работающих вынужден содержать невидимого нахлебника: офицера армии, во много раз большей, чем этого требует здравый смысл; рабочего бесчисленных военных заводов, поставляющих в мирное время смерть за рубеж; пограничника, стоящего у каждого полосатого столба; сотрудника органов, ведущего охоту на сограждан; партийного босса, озабоченного одной своей карьерой; бездарного дипломата, заключающего дорогостоящие договоры с непрочными безответственными режимами Азии и Африки; радиоинженера, конструирующего глушилки; литератора, промышляющего ложью; историка, вторящего ему, и т.д. Нам платят меньше, во много крат меньше, чем мы вырабатываем ценностей, наше коряво сколоченное государство — наш должник, об этом нужно помнить каждому.

Чем выше квалификация специалиста, тем большую прибавочную стоимость он способен создать. Особенно высока бывает прибыль от ученого, создаваемые им духовные ценности меняют технологию, перестраивают мысль или перетряхивают душу человека, позволяя делать рывки в произво-

дительности труда; буржуазия обнаружила, что деньги, вкладываемые в науку, окупаются особенно быстро, это и движет нынешнюю научно-техническую мировую революцию.

С этой точки зрения стране невыгодно лишаться талантливых, да и просто образованных людей. Их бы надо использовать по способностям. Но это бы значило принимать на работу по деловым качествам, а не по принципу расовой и идейной чистоты; продвигать по службе по способности, а не за ловко привешенный язык и отсутствие собственного мнения; уважать национальные чувства и особенности, а не подминать их под свой великодержавный зад. Румыния не порвала в 1967 г. отношений с Израилем, ибо, по словам румынского министра иностранных дел, не хотела оскорблять национальные чувства евреев — лояльных граждан республики Румынии. Правительство Канады не пошло на ссору с де Голлем, уважая чувства канадских французов. В Штатах влияние национальных меньшинств на разработку избирательной программы общеизвестно. Но наши российские расисты на такое не способны. Вновь открыть еврейские школы, дать изучать родной язык, отменить процентную норму и всякую расовую дискриминацию — это выше наших сил.

Мы додумались до другого: брать за свободу выкуп. А впрочем, разве мы первые? Это же идея Гитлера: фашистский режим, придя к власти в 1933 г. и начав еврейские погромы, за плату в 1000 марок (долларов?) разрешал своим жертвам эмигрировать; тогда был создан международный фонд, выкупавший неимущих. Таксы еще не было, брали со всех одинаково. Таксу ввел Эйхман, во время войны — с богатых евреев брали больше. С богачей, а не с бедняков с дипломом. Но, в отличие от советского, фашистский режим не утверждал, что всем евреям при нем живется хорошо. Лицемерия было меньше. И не додумались до откровенной продажи мозгов. Таксу на мозги — ее родимая смекалка родила. Или, лучше сказать, это плод известного всем брака русского революционного размаха с американской деловитостью (в этом году празднуется золотой юбилей).

Такса эта на диво высока. Человек может годами рыскать по Союзу в поисках работы по специальности — и видеть, что его мозг никому не нужен; но едва он решится распроститься с нами — тут мы ему и предъявим счет на сумму, какую он в жизни не видал и не накопит. Мы, конеч-

но, понимаем: такой суммы для выкупа среднему человеку не раздобыть. Расчет на границу: она богатая, она заплатит — золотом, долларами, инвалютой. Понимаем и то, что можно запрашивать. Покупать специалистов выгодно любому цивилизованному государству: в два-три года деньги окупятся, пойдет чистая прибыль. Мы понимаем и то, что те, кому претит покупка умов, добьются создания благотворительного фонда, чтобы помогать всем подряд, неимущим и больным. Так или иначе, по тем или иным мотивам, цивилизованный мир должен будет принять нашу цену. У нас же один мотив: нажиться на несчастье людей, для которых родина обернулась мачехой; на желании соединиться с близкими; на гордости тех, кто не хочет больше быть людьми второго сорта; на росте чувства человеческого достоинства у советских граждан; и на солидарности с ними людей остального мира. Человеческие чувства можно превратить в звонкую монету. Покупайте наших евреев. Спешите, пока дешевы! Таков смысл нового закона.

Наша совесть ленива, а ум хитер: чтобы не потревожить ее, он услужливо подсовывает оправдания нам, например, что новый закон не имеет в виду одних евреев, он касается любых эмигрантов. Но это оправдание ложно: закон принят в то время, когда большинство эмигрантов — евреи, значит, вредит в первую очередь им. Борясь против него, евреи тем самым будут бороться и за права всех советских граждан. Или — мысль о том, что такса нужна лишь, чтобы отпугнуть колеблющихся, воспрепятствовать утечке мозгов. Дескать, пользоваться ею мы не станем, это чисто символический акт. Как-будто прежде, до таксы, у нас не было средств прекратить эту утечку? Да не пустить, и все тут! Все прежние препоны остались на месте, добавилась новая, в расчете нажиться напоследок на тех, кто через все пробьется.

Итак, в XX веке вновь пытаются создать невольничий рынок, воскресить торговлю людьми. Где вы, меценаты, вот поэт, настолько необычный, что никогда не увидит печатной строчки своих стихов, — купите! Сохраните для человечества! А это гениальный физик, наверняка в будущем Нобелевский лауреат, нам он ни к чему, и в университет его не приняли, кончает полиграфический институт, — спускаем за полцены! А вот несомненнейший Спиноза, у нас — учитель вечерней школы; в древнем Риме модно было владеть рабом-философом,

воскрешайте древние традиции, покупайте! Товар первый сорт, ОВИР выполняет финансовый план.

...Рабство в XX веке, рабство вползло в мир, над которым крутятся спутники и восходит разгаданная Луна, — и мы не закричали, не вздрогнули, мы ничего не заметили. Так ведь и впрямь ничего особенного не случилось, мало кто в нашей стране поймет, до чего антигуманно новое решение партии и правительства. "Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы", — сказал Н.Г.Чернышевский, сказал как прилепил, и от этого клейма нам, видать, до веку не избавиться, вся наша будущая история — в этой фразе. Такса на выезд — очередное порождение холопской психологии. Рабовладельцы — сделавшие карьеру рабы — стали в подходящий момент работоторговцами. Понадобились деньги, и общество рабов разрешило выкупаться на свободу тем, кто осилит выкуп, вот и все, ничего неестественного в этом никто не видит, как не видели прежде ничего необычного в запрещении свободного выезда за границу, в превращении целых областей в погранзону, в запрете жечь костры на берегу Черного моря и кататься на байдарках, в повсеместной пропускной системе, в закреплении крестьян за колхозами, в подслушивании разговоров и перехватывании писем, в отождествлении эмиграции с изменой. Наша мораль вся сочится психологией холопа: "Я — ничто перед державой", мы свыкнемся и с такой!

Более того, в наших условиях легко увидеть в таксе прогресс: страна, забывшая подписать Декларацию ООН о правах человека, провозглашающую право жить в любой стране по своему выбору, — эта страна впервые признает за некоторыми людьми право выбирать место жительства, хоть и за деньги. Отличие от других стран только в цене: предмет первой необходимости во всем мире — свобода — в СССР является предметом, недоступным для широких масс. Погодите малость, жизненный уровень возрастет, свобода — как "Волга" — станет доступной. Сталинизм извращает у людей нормальную реакцию. То, что явилось бы позором для цивилизованной страны, выглядит при нем шагом вперед.

И все же надо нам понатужиться и понять: "налог на образование" — аморален. Мерзко ставить свободу человека в зависимость от его богатства. Мерзко ставить это в зависимость от его таланта. Новый закон намерен закрыть

десяткам тысяч бедняков, стариков, женщин, молодых людей всякую надежду соединиться со своими семьями. Всякую надежду на свободу. Всякую надежду на счастье, как они себе его представляют. Или взять с них за это стремление десятикратную цену. Даже если стараниями мировой общественности удастся создать благотворительный фонд и тем умерить социальную несправедливость нового закона, этот закон все равно будет смердеть на весь мир. Ибо мерзко продавать свободу за деньги.

"Освобождение крепостных без выкупа" — было требованием русской общественности перед реформой 1861 г.

"Свободный выезд все желающим!" — должно стать одним из наших лозунгов. Борясь за это, мы боремся за демократические свободы.

Борясь за свободный выезд, евреи пробивают своими телами брешь в колючей проволоке, окружающей нас. Борясь за права отъезжающего нацменьшинства, мы боремся за права остающегося большинства нации.

Новый закон сделает моральный климат у нас и за рубежом еще более удушающим.

"Налог на образование" есть налог на свободу. Он оскорбителен для человеческого достоинства.

ПОЗОР ТОРГОВЦАМ СВОБОДОЙ!

Москва, август 1972 г.

* * *

Статья появилась в 1972 г. в самиздате под псевдонимом "Семен Телегин". Статья посвящена так называемому "налогу на образование", который в то время был установлен для желающих эмигрировать в Израиль. Взрыв негодования, вызванный во всем мире этим "налогом", заставил советские власти вскоре его отменить (точнее: перестать применять).

И на эту статью отозвался А.Солженицын в своей "Образованщине", назвав почему-то статью — "листовкой". Приводим это высказывание А.Солженицына:

"Летом 1972 года, когда пылали северные русские леса по советскому бесхозяйству (у *наших* заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), — бодрячок, весельчак и атеист Семен Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это мол тебе, Россия, небесная кара за твои злодеяния! Прорвало."

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ НАУКИ

Наука — моральна. Не в пример искусству. Это я бес­сознательно понимал еще в школе, когда примерял себе профессию по душе. И изящная словесность, и математика давались мне одинаково. Предпочел науку, хорошо помню — не мысли, чувства — почему: честное занятие. Правдивое. Тут уж с меня никто не требует неправды. Я был школьник, ничего о жизни не знал, а эту разницу подсознательно ощущал: литература способна на ложь, наука — никогда. Продолжая ту же линию, от математики отвратился к физике, не имея к последней особых способностей. Математик держит ответ перед собой, физик — перед природой. У математика нет эталона истинности, кроме внутренней согласности рассуждений; это хорошо, это прельщает, но физику, а тем более физику-теоретика, труднее: кроме согласия с самим собой, его теория должна согласовываться со Вселенной. Произвол в действиях физика появится, когда он обратится к техническим приложениям своего открытия, а до той поры он должен ходить в струнку перед матерью-природой. Наказание за лганье здесь — неотвратимо. В отличие от искусства.

(Предвижу возражения типа: истинное произведение искусства — правдиво, ложь убивает искусство и т.д. Все это верно. Но я говорю о самом занятии искусством, а не о результатах этого занятия. О том, что существуют процветающие писатели и живописцы, походя лгущие в творениях своих, вообще не задумывающиеся, правда или нет придуманное ими; а ученый, живущий ложью, — исключение, на моем пути встретился лишь один такой).

Наука требует чистосердечия. Прочтите хорошую научную статью — она прежде всего откровенна. В ней приведены все результаты, как удачные, так и не удовлетворяющие ученого, — и его достижения, и его недоумения. Ученый — первый критик своего труда, он указывает на погрешность своих данных, он перечисляет мнения авторов, с ним не согласных, уточняет свое место в ряду исследователей, отделяет мысли, принадлежащие ему, от высказанных до него, разбирает все сомнения в правильности своих идей. Наука — честное дело. По степени откровенности можно даже судить о душевных или умственных качествах автора.

Честность этого занятия я всегда понимал. Но не догадывался о свободе, которую дарует наука. Наука моральна еще и потому, что делает человека свободным. Ученый свободен, как свободен приверженец любой справедливой идеи. Он знает истину, он развивает ее дальше, выводя формулы, ища приложения, отыскивая границы своего учения, он поступает в соответствии с истиной, а это всегда наполняет человека ощущением свободы. Или он блуждает в просторах, еще не освещенных светом знания, ведя свободный поиск новых закономерностей и фактов, как путешественник в нехоженных землях; захочет — пойдет прямо, захочет — копнет вглубь, или фантазия умчит его за тридевять земель и там подарит ему невероятные находки. Драгоценны эти минуты, часы, дни (как кому повезет) свободы, они распрямляют душу человека, а вслед за этим и спину; знающего истину трудней обмануть, сломить; привыкшего следовать доводам разума нельзя заставить шагать по команде; кто умеет сомневаться в себе, неспособен к слепой вере.

В этом великое, способное преобразовать мир значение науки: мир, населенный учеными, не смог бы быть миром рабочего скота, хунвейбинов, функционеров.

Наука моральна еще и потому, что она демократична. Это демократия аристократов духа. Но об этом уже говорилась.

Наконец, наука моральна оттого, что требует от своих служителей одаренности. Вдумайтесь в этимологию этого слова — одаренность, дар, подарок, которым боги одаривают человека при рождении. Наука — это содружество людей, которых при рождении посетили боги, одарив их лучшим, что сами имеют. Это посещение оставляет свой отблеск на всем, что делает потом человек. Науку делают талантливые люди, а талант — это не только умение решать неразрешенные (неалгоритмизируемые) задачи, но и щедрость души, веселая выдумка, счастливый взгляд на мир — все это вещи, обогащающие мораль, превращающие ее из собрания правильных правил в живой, полнокровный *modus vivendi*. Наука — вещь, придуманная счастливыми людьми.

Талант, чистосердечие, демократизм! Какие высокие слова! Если так хорошо, то почему так плохо? Почему все меньше эти качества нужны ученому? Почему так много среди моих коллег людей с различными комплексами, обделенных

талантом, просто несчастных? Почему нами правят бездарности, сплошь да рядом указывая таланту, что делать? Почему так много неудачников — кто сделал за жизнь так мало, хотя обещал так много? Почему меня самого посещает ощущение зря прожитой жизни? Почему занятие наукой не приносит удовлетворения?

Так получается тогда, когда государство накладывает свою лапу на науку. Оно искажает тот первоначальный замысел, который лег в основу науки, и подменяет его другим — идеей о науке как производительной силе, о науке — служанке общества. Но ведь в начале все было не так. В определение науки не входит общество, государство, производство. Для возникновения науки достаточно двух начал: неразгаданной природы и человека, желающего догадаться, что там такое происходит. Именно эти два фактора двигали науку до недавнего времени. Имя ученого как правило связывается в нашей памяти с проблемой, которую он решил. Коперник? — Движение Земли. Галилей? — Движение тел. Ом? — Сила тока в проводнике... Во всех случаях от встречи проблемы и человека, как кремня и кресала, возникали искры нового знания. Все прочее — от лукавого. Даже жажда изобретений — лишь необязательная добавка к этому основному соотношению "природа + разум". Она подстегивала разум Эдисона, Уатта, но другие обходились и без нее.

Таково первопроисхождение науки...

Наука моральна своим интернационализмом. Она активно противится делению на советскую, американскую и т.д. И наказывает те страны, которые пытаются создать свою собственную, противостоящую мировой науку. Она всемирна. В то же время в ней есть место национальной гордости за своих ученых, есть место оценке национального и личного вклада во всемирную науку. Я горжусь, например, что так много евреев — прекрасных ученых, что среди нобелевских лауреатов евреев в десять раз больше, чем русских, что теоретическую физику называют еврейской наукой. С этой стороны я чувствую себя причастным к работам Гелл-Манна, Фейнмана, Вайнберга, Зельдовича. От того, что я считаю, что на меня падает отблеск их таланта, я не становлюсь талантливее, но это налагает на меня определенные требования. И я не стыжусь этой гордости, потому что знаю: не

происхождение определяет талант, таланты рассеяны среди всех народов, есть много народов, чей вклад в науку не менее значителен.

В науке — общая копилка; это такой способ международного сожительства, при котором выдающиеся достижения одних народов не перечеркивают достижений других (народов).

Этим она отличается от мировой экономики, где процветание одной страны иногда покупается ценой нищеты другой; от мировой дипломатии и мирового военного искусства, где вообще иначе и не бывает.

Отношение национального и интернационального в науке есть частный случай отношения личного и общего в ней. Наука предоставляет каждому ученому неограниченные возможности проявить свое я, свой талант, воображение, трудолюбие. Как и искусство. Пожалуйста, учи нас, поражай, сыпь свое золото в общую копилку — говорит она каждому своему адепту. Но когда золото высыпано, оно становится общим достоянием. Его вправе тратить или пускать в рост всякий. Личный вклад идет в коллективный капитал. И личность ученого исчезает — плавится в недрах Солнца всемирного знания. В этом смысле и говорят: "Искусство — это я, наука — это мы". Вложив всю свою жизнь, всего себя в знание, ученый должен быть готов к тому, что он исчезнет как человек, будет забыт, что добытое им знание безымянным войдет в копилку всечеловеческой информации. Ему должно быть достаточно утешения, что когда-то он был первым в том, чем ныне пользуется каждый-всякий, не задумываясь, откуда это. Это еще не наихудший вариант: он должен быть готов и к тому, что его знание окажется ложным, окажется ненужным, окажется незамеченным, окажется преждевременным и будет забыто либо переоткрыто, что его область интересов окажется слишком сложной и неблагодарной для четкого знания. Ученым, в отличие от поэтов и художников, не положено бессмертия, и в нашей памяти обрела бессмертие лишь малая толика ученых прежних веков; мы вспоминаем Ома, формулируя закон Ома, но десятки коллег Ома, расчищавших для потомков другие дорожки науки об электричестве, исчезли из нашей памяти; Ом не был талантливее их, просто ему посчастливилось работать в области, которая оказалась проще и где удалось сформулировать более простые, чем у них, законы. В этом смысле в науке память потомков необя-

зательна, она дарит бессмертие зачастую случайным избранникам, и сама является подарком, на который ученый и не смел рассчитывать. Не правда ли, занятие наукой паразитично близко в этом смысле моделирует вообще смену человеческих поколений (прогресс), где каждое новое поколение пользуется не только знаниями, но и городами, дорогами, изобретениями, капиталами, созданными предыдущими поколениями, не думая о том, кому именно этим обязано. Наука моделирует человечество, и в этом тоже ее моральность. А искусство — нет, не моделирует. Оно построено на неповторимости, на уникальности. Информацию, создаваемую искусством, человечество тоже осваивает и делает всеобщей, но при помощи совсем другого механизма. Этот механизм не обязательно требует растворения личности художника в зрителях. Не берусь разъяснить его подробно, хотя, если бы хотел это сделать, стал бы думать над судьбой Пушкина, Лермонтова, Маяковского.

Я написал, что горжусь, что принадлежу к народу, талант которого общепризнан. Но ведь национальность — не единственная графа в анкете. Почему, например, я не горжусь тем, что работаю в ОИЯИ¹? Я понимаю, что работа в этом институте — большая для меня удача, что она наложила на меня гораздо больший отпечаток, гораздо сильнее сформировала характер моих работ, чем моя принадлежность к той или иной нации. Или почему я не горжусь тем, что я советский ученый? Ведь черт стереотипа советского ученого во мне несравненно больше, чем черт стереотипа еврея. Такой вопрос я задал сам себе в момент, когда писал эти страницы, и проанализировал свои чувства. Я полагаю, читателю будет небезынтересно узнать правдивый ответ. Но пусть он сначала попробует сам догадаться. А я попробую высказать его догадки.

— Вероятно, дело в том, что национальные чувства не в пример сильнее, чем сознание того, что ты работаешь там-то и там-то. Последнее — вообще не чувство, а так, информация.

— Да, национализм за последние десятилетия разросся чрезвычайно, особенно в СССР.

¹ ОИЯИ — Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в г.Дубна Московской обл.

— Нет, дело в том, что ОИЯИ — плохой институт, только со стороны выглядит прилично, а человеку изнутри все видится в настоящем свете.

А теперь результат анализа моего чувства гордости — чем я горжусь, чем нет.

Нет, ОИЯИ — один из лучших институтов, какие я знаю, Дубна — один из приятнейших для проживания городов. Я просто не чувствую здесь себя своим. Я не ровня тем, кто формирует лицо института. Я не могу гордиться тем, что я физик ОИЯИ, потому что не я творю его научную политику, потому что не имею права в нем судить и рядить, не от меня зависят его успехи и неудачи. Я чувствую себя в нем куда-то отодвинутым, решают за меня, представляет институтскую науку (в том числе и мои работы) кто-то другой; я привык чувствовать себя в нем ученой скотиной, негром, мнением которого не интересуются. Не знаю, кто так устроил, но так устроено. Как тут появиться чувству гордости? Чем гордиться?

А чувство национальной гордости — да, оно оправдано. Среди евреев — я такой же, как все. По мне так же судят о евреях, как и по всякому другому. Когда нам придется идти в газовые камеры или ехать в теплушках в Якутию, я знаю, что пойду, как и другие. Я также знаю, что все те же чувства владеют большинством моего народа, ибо он угнетен, а чувство принадлежности к угнетенного меньшинству — очень сильное, легко воспринимаемое и передаваемое чувство. На мне отблеск славы Эйнштейна и Фейнмана, ибо они легко поняли бы мои чувства. Вот в чем сила национального чувства: на меня распространяется вся вражда к моему племени, а значит и вся слава его.

Еще я горжусь тем, что я физик, хотя физики — отнюдь не гонимое племя. Но причина все равно близка — я рядовой физик. В институте я посторонний, в науке я свой, я в ней как все. Я знаю то, что знают все, я так же, как все мои сверстники, живу этой наукой, вкладываю, как они, в нее всего себя. И — это важно — вкладываю с успехом, стараюсь не зря. Никто меня специально из нее не выталкивает, не создает помехи, повезет — сделаю в ней что-то, не повезет — обойдусь, это зависит кроме меня только от слепого случая. Значит, я в науке — на общих правах, а наука сильная, живая, интересная, как тут не гордиться.

А тем, что я советский физик — не горжусь. Но уже по совсем другой причине — не потому, что чувствую себя поставленным где-то ниже и — особняком. Нет, я типичный представитель этого клана. И мог бы этим гордиться, как горжусь пятым пунктом. Мог бы, если бы советская наука стояла в мире на таком месте, которым можно гордиться. Но она славна в мире не только и не столько своими успехами, сколько своей ролью служанки государства, верной и беспринципной его служанки. Советская наука слишком мало демонстрировала свою силу в споре с государством, свою принципиальность, она слишком легко, не задумываясь, отдает сверхдержаве свою силу, чтобы этим можно было гордиться. Нет, я подожду с этим чувством. (Должен все же признать, что самая строптивая из каст страны — именно физики; именно наша среда поставляет больше всего вольнодумцев, "инакомыслящих"; но их слишком мало, чтобы можно было говорить о спасенном лице моей науки.) Точно так же я стыдился бы быть немцем или немецким физиком в тридцатые годы...

1975—1976

НЕ ОБОБЩАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ

Который раз уже я заносил перо над бумагой — и останавливался. Оттягивал это дело. "Кто я такой, чтобы вести эти записки?" — спрашивал я себя. "Достаточно ли я типичен? — волновался я. — Иначе зачем вводить в заблуждение?"

Я физик, и должен уложиться в тот стереотип физика, который существует у нас. Ибо знаю, что в первую очередь обо мне будут судить по стереотипу, и, наоборот, по моим запискам — обо всех физиках. Человеку свойственно обобщать, на то он и человек. Это мой пес Бином видит во мне существо уникальное, а для всех прочих я человек с такими-то анкетными данными, а каждый пункт в анкете — это полочка, на которой у меня множество братьев. Слово "множество" здесь следует понимать в математическом смысле: я принадлежу к множеству физиков-теоретиков, к множеству пожилых 50-летних мужчин, к множеству граждан крупнейшей сверхдержавы и т.д. и т.п. Я пересечение этих множеств — точка, общая всем кругам. Одно из свойств человеческого интеллекта — что он любит и умеет обобщать: по свойствам точки судить о кругах. Ни собака, ни даже компьютер не это не способны. А мы с вами это охотно проделываем.

Человек обобщает и правильно делает, что обобщает. Я и впрямь элемент разных множеств, конгломерат наслоений, продукт эпохи и т.п. Я уже в летах — это значит, что в записях моих неизбежно всплывут все комплексы, свойственные людям моего поколения, — более того, боюсь, как бы в них сверх этих комплексов ничего не оказалось. А тот, свойственным физикам, подход к восприятию мира, а те его тонкости, что отличают теоретика от экспериментатора! Это живет во мне, я хочу его высказать. Далее, я не из НИИ какого-то, я из Дубны как-никак, это значит, что я привык ходить на работу когда хочется, несколько раз в год раздражаться статьями, в содержании которых никому не подотчетен, — словом, удовлетворять свою любознательность за счет налогоплательщика. Что удивительного будет, если эта вольная повадка ко всеобщему соблазну найдет свое отражение на предлагаемых страницах. А уж о моем граж-

данском правосостоянии и толковать нечего: советский обыватель, житель страны, где политика налагает свою лапу на все живое, как смогу я удержаться от соблазна все сводить на политику!

И вот мысль о том, вправе ли я претендовать на обобщенный образ, она-то и смущала меня. Вот если бы я был типичным представителем того, другого, третьего. Но это не так. Раза два мне в жизни повезло: я попал в пересечение (множеств), мощность которого была сравнительно невелика:

$$\mu(\cap u_i) \ll \mu(u_i) \forall i$$

Попал там, где другие мои сверстники оказались за пределами логического произведения. Это позволило мне затем заниматься всю жизнь любимым ремеслом, изобрести ставший ходовым в физике элементарных частиц метод, написать книгу и т.д. — в то время как мне положено было по законам вероятности оставаться учителем, подобно другим моим собратьям по анкете. Были и другие отклонения от стереотипа. Нет, по мне нельзя, решительно нельзя судить о большинстве. Вот что удерживало меня.

Далась мне эта типичность, почему мне непременно хотелось быть как все? Ведь сочинителю мемуаров это необязательно. Наоборот, чем необычнее человек, тем записки любопытнее. Стать как все легче, нежели сохранять своеобразие. А мне явно не хотелось выделяться. Не было ли это неосознанной потребностью растворить личность в коллективе? Так сказать, коллективизм в крови. Или свойственное ученым стремление к объективности? Или понимание того, как трудно будет во мнении читателя отклониться от стереотипа. Или боязнь-таки неправильного обобщения, ведь мне действительно хотелось упредить читателя: "Не обобщай меня без нужды"? Не берусь объяснять.

И все же, как видите, в конце концов моя писательская невинность была нарушена. Это когда я понял, что кроме типичности судеб или стереотипности характеров существует типичность ситуаций. В день, когда я ощутил это, стало ясно, что писать придется.

Я разговорился с одним стажером, евреем по национальности, оказался толковый парень. Слово за слово, планы на будущее, рассказал он о себе: срок стажерства кончался, место работы было, согласие научного руководителя тоже,

только отдел кадров твердил свое: "нет"; поведал о стоянии в проходных московских НИИ, где оформление шло каждый раз до тех пор, пока в поле зрения тех, кому ведать надлежит, не попадал пятый пункт; рассказал о смене надежд и отчаяний, ставшей обыкновением, а о своей любви к науке он не рассказывал, это я и сам видел. И припомнил я, как то же самое, буквально до деталей, происходило со мной лет 20—25 тому назад, вспомнил свои ежедневные многомесячные блуждания по отделам кадров, бесконечные телефонные названивания, тупость надежд и накаты отчаяния. Поколение сменилось, а все как прежде; мне тогда повезло, а сколько смирились, сколько талантов было загублено, — и вот теперь новое их поколение зарывают в землю. За это время человек побывал на Луне и раскрыл тайну наследственности — но российский расизм по-прежнему собирает свою ежегодную жатву талантов. Ситуация повторяется, она типична, и если я понял эту инвариантность основ нашего быта, это узаконенное беззаконие, я обязан заявить о ней, не думая о том, типична ли моя собственная судьба.

Я начал всматриваться и сравнивать и увидел, что типичные ситуации моей юности живут и процветают. Пшеничные поля без хлеба, магазины без продуктов, лозунги без смысла, книги без содержания, города без истории, деревни без молодежи, выборы без выбора, судилища без вины — этот традиционный исторический пейзаж всю жизнь маячит передо мной. Все больше вокруг городов, машин, институтов, книг, — а основы жизни не меняются, застойный дух стыдливой умолчания и наглой, уверенной фальши по-прежнему витает над страной, сверхдержавные амбиции по-прежнему высасывают из народа живые соки, преступно слеп наш взгляд в будущее и преступно забывчива наша память. И не видно этому конца. Народ, как водится, безмолствует.

Это и решило, писать или не писать. Важно не то, типичны ли мои мысли, моя судьба, и не то, укладываюсь ли в стереотип, — а важно, что мы спотыкаемся об одни и те же камни, что стоим с некоторых пор, упершись в те же забытые ворота. И если я могу назвать наши напасти немедленно, — я обязан это сделать.

Если не я, то кто же?

1974—1975

ОТРЫВОК 1

Я интеллигент в первом поколении. В роду у нас образованных людей не водилось. Дед был ткачом, ткал на дому "терилим" — молитвенные покрывала. Про другого деда только знаю, что какое-то время он работал на лесопилке своего богатого родственника. Род наш из Белоруссии, из-под Орши. Люди были бедные, это видно хотя бы по тому, что не сумели дать своим детям образования. Отец ходил только в хедер, потом выучился на переплетчика. Мать — та обошлась двумя классами. Лакомством в доме матери считалась картошка с селедкой. Семьи были большие, многие мои дядья и тетки еще до моего рождения уехали в Америку на заработки, да так и остались там, войны и революции развели семью на две половины, ничего не знающие друг о друге.

ОТРЫВОК 2

Горький, "Мои университеты" (Стр. 549, т. 13, собр. соч. 1951 г.): "Рабочий восстает для революции... Захватив власть окончательно — согласится он на государство? Ни за что! Все разойдутся, и каждый за свой страх устроит себе спокойный уголок... Человек покоя хочет... Надобно только угол тихий и бабу... Много лишнего у нас, и все это от интеллигенции — вредной категории людей, отравленных, для них идея выше людишек, это по-жидовски: человек — для субботы... — Евреи не думают так. — А черт их знает, как они думают, — народишко темный..."

В этом без труда можно разглядеть черты нынешней идеологии. Ошибочно было лишь мнение, что рабочий не согласится на государство, на технику. У него, во-первых, никто не спрашивал, а государству выгодно самоподдерживаться. А верно, что — в рамках государства — рабочему нужно покой, бабу — и никаких идей. На этом и основана стабильность нашего строя: рабочему не нужна истина, красота, справедливость, светлое будущее, Бог — все эти интеллигентские штучки, — но обеспеченное существование. Государство идейно ближе к рабочему, чем интеллигенция.

О ГЕРЦЕНЕ КОПЫЛОВЕ



ГОРЕСТНЫЙ СМЕХ ГЕРЦЕНА КОПЫЛОВА

Герцен Исаевич Копылов (1925—1976) был очень сильным физиком. Он любил свою науку, занимался ею самозабвенно, и у него многое получалось.

В 30 лет, зрелым человеком, полным сил, он приехал в Дубну, в Объединенный институт ядерных исследований, где и проработал до конца дней (а до этого, кончив физфак МГУ, преподавал математику в школе в своем родном Днепродзержинске). В Дубне, как и во всех академических городках страны, хрущевская "весна" чувствовалась особенно сильно, освобождение научной мысли естественно соединялось с общественным прогрессом, и еще не представляли себе люди, как это можно сохранить первое и придушить второе.

А тогда ученый люд с одинаковым жаром рассуждал и о частицах, и о живописи Пикассо, и о молодых поэтах и прозаиках, и о новых голосах и веяниях во всех областях нашей культурной жизни. Все ходили в турпоходы, а Дубна особенно занялась воднолыжным спортом, в каковом и достигла выдающихся результатов.

"Весна" однако была неровной. Хрущев разрешил Солженицына, — но он же и доконал Пастернака. Распахнул было "железный занавес", — но и построил берлинскую стену. Были реабилитированы и возвращены десятки тысяч, — но сотни были и посажены, "на новенького". Однако надежда была еще слишком сильна, весенняя распутица как бы само собой предполагала и грязь, разумеется, временно. Поэтому тон все-таки был мажорный, а ирония — не уничтожающей. Сарказмы еще были без горечи. Она пришла позже, когда "весну" сменило брежневское бессезонье.

Наши дубненские прогулки — вот что сразу встает перед глазами, чуть только вспомнится мне Гера Копылов. Мне кажется, с первого знакомства мы с ним только и делали, что бродили по окрестностям, и всегда поездка в Дубну означала для меня праздничный выезд на природу к родному человеку. Он таскал меня по тамошним лесам и водам с неутомимостью завязтого туриста, и лишь потом я понял, что неутомимость была еще и необходимостью, потому что он знал, как ненадежно его сердце и как важно поддерживать его общей закалкой. Впрочем, он, конечно, любил эти путешествия и сами по себе: и подышать вольным воздухом,

и полюбоваться, и у костра посидеть, и поехидничать над бледной немочью изнеженных горожан.

Но он был не только турист, а еще и доктор наук. По тем временам это была такая новая порода, неизвестная мне раньше — математики-скалолазы, физики-воднолыжники, интеллектуальные демократы. Меня покорила их образованность, ирония, спортивность и замечательная свобода и простота в обращении. Я видел в этом — и сейчас вижу — идеальный стиль в отношениях между людьми, подлинную интеллигентность, и Гера Копылов был органическим воплощением такого стиля. Потом я встретил много представителей этой породы, были люди и поизыщнее, и пошире, и обаятельнее, — но такую абсолютную, наивную искренность, как у Геры, я мало у кого видел.

Круг его близких был узок, и он не стремился к его расширению. Может быть, это усугубилось еще и давней болезнью сердца, с которой он боролся молча и упорно до последней минуты. На 48-м году жизни он пережил первый инфаркт, второй свел его в могилу. Врачи потом говорили, что это чудо — с таким сердцем прожить последние два года, он же понимал и ощущал ненадежность своего сердца задолго до своих инфарктов.

Вообще-то он был человек скорее замкнутый, и от него естественнее — или банальнее — было бы ждать самоуглубленной лирики, тайных дневниковых стихов, а не этой лихой скоморошины, не этого разгула вольного русского сарказма, как всегда смешанного с горечью, этого праздника балаганного каламбура, каким является и вся его поэтическая книга. Вот уж кто любил побаловаться словом, покидать его с руки на руку, поиграть двойными смыслами и даже вставить в стих какой-нибудь засушенный ученый термин, где он начинал сиять совсем уж неожиданными гранями. Эта вольная игра и была его тайной страстью, и я не знаю, любил ли он свою физику так же, как эту игру, — а что физику свою он любил, — в этом не было никакого сомнения. И может быть, его блистательный перевод книги Фейнмана был попыткой объединить обе любви.

Он был человек насмешливый и очень любил пошутить, особенно в рифму:

Кто, движимый гражданским долгом,
был физиком, а стал парторгом,
кто пишет ценные труды,
кто детворе твердит зады.
Иной, как встретишь, вечно взмылен,
зажат в тисках семейных дел,
кто безнадежно заболел
спрямленьем мозговых извилин...

(в скобках заметим: онегинская строфа; добавим также, что автор владел и многими другими поэтическими формами).

Его пародия на статьи о науке опубликована в знаменитом сборнике "Физики продолжают шутить".

У него есть целая поэма о студенте-физике — "Евгений Стромынкин" (на Стромынке помещалось огромное студенческое общежитие МГУ), написанная под "Онегина" еще при Сталине, ядовитая и веселая, по которой видно, что автор прозрел еще до XX съезда. А этим не всякий его ровесник может похвастать.

Не меньше других он был заражен "весенними" надеждами. Но много острее других переживал последовавшее за надеждами разочарование.

Когда грянули первые аресты и суды, а потом пошло-поехало, и робкий протест был незамедлительно раздавлен, — томило меня чувство обиды на нашу науку: что ж вы, братцы свободные интеллектуалы, отступились, промолчали, смирились, в то время как вам-то, кузнецам нашей обороны и космической техники, мерзавцы наши ничего существенного причинить не смогли бы? Наивный, конечно, упрек — хотя и сегодня испытываю я то же недоумение. Славная когорта отечественных естественников могла бы, мне кажется... Но дело кончилось тем, что она лишь выделила свой список в наш общероссийский ссыльно-лагерный: Андрей Сахаров, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Юрий Орлов и еще несколько десятков. И хотя Гера не сидел, я его по праву числю в этих рядах, потому что он всем этим болел как никто, потому что он все это — и свое страдание — выразил как никто. И в первую очередь эта, а никакая другая боль, и доконала его изношенное сердце. То, что потом называлось "правозащитным движением", "диссидентством", не стало

для Герцена Исаевича делом жизни, как это стало для Сахарова, но и в стороне он остаться не мог и не остался: он участвовал в этой стихийной оппозиции инакомыслящих так, как умел, — литературно. В самиздате ходило несколько его эссе на злобу дня: "Как быть?", "Август 1972 г., или Торговля живым товаром" (под псевдонимом С.Телегин).

"Я начал всматриваться и сравнивать и увидел, что типичные ситуации моей юности живут и процветают. Пшеничные поля без хлеба, магазины без продуктов, лозунги без смысла, книги без содержания, города без истории, деревни без молодежи, выборы без выбора, судилища без вины — этот традиционный исторический пейзаж всю жизнь маячит передо мной. Все больше вокруг городов, машин, институтов, книг, — а основы жизни не меняются, застойный дух стыдливого умолчания и наглой, уверенной фальши по-прежнему витает над страной, сверхдержавные амбиции по-прежнему высасывают из народа живые соки, преступно слеп наш взгляд в будущее и преступно забывчива наша память. И не видно конца. Народ, как водится, безмолствует.

..И если я могу назвать наши напасти немедленно, — я обязан это сделать.

Если не я, то кто же?"

("Не обобщай меня без нужды").

Это сказано в 1975 г. и с замечательной ясностью выражает великое наше "не могу молчать", заставляющее бросать насиженное и нажитое и идти в мерзость советской каторги ради несбыточной справедливости. Кстати сказать, Герцен Исаевич был хорошо знаком с Юрием Орловым, как и со многими другими правозащитниками 60—70-х годов. Одного из них, Илью Габая, он даже ухитрился навестить в кемеровском лагере (им дали свидание). Писал письма, помогал деньгами...

Но главное, чего хотел он больше всего, — это высказаться с возможно большей полнотой, со страстью, во всем блеске накопленного уже опыта, словесного мастерства, — и так, чтобы само запомнилось, въезжало без мыла, застревало без усилия, чтобы хотелось переписывать и давать соседям, чтобы растекалось, как встарь, — в списках. Вот чего он хотел, вот к чему стремился, когда писал свою самую мощную, самую смешную и самую горькую вещь: "Четырехмерную поэму". Счастливо найденная основа

— лубок — дала массу свободы для словесной игры, причудливой каламбурной вязи, удалой и неожиданной рифмовки, до которой он был большой охотник.

Вот, например, фрагмент о кривичах:

Им за качество одно
было имя то дано:
что они по воле вольной
шли всегда тропой окольной,
не любили пряником,
не ходили большаком,
дело ладили с оглядкой,
шубу новую — с заплаткой,
дули в дудку не дудя,
проходили не дойдя,
завивали лысым кудри,
в заднем смысле были мудры,
мерзли вместе — грелись врозь.

Так у них уж повелось.

От хождения кривого
все точила их тревога.
То и дело путь меняли,
веры никому не няли.
И, себя вконец запутав,
здравый смысл послав на хутор,
вдруг бросались очертя,
смет и планов не чертя,
шишки ставя на чело:

— Обойдется!

— Ничаво!

Умел писать Герцен Исаевич Копылов, замечательный дубненский физик, автор капитальной монографии "Основы кинематики резонансов" и прекрасной популярной книги "Всего лишь кинематика"!

В этой его главной поэме (1965—72 гг.) прозвучала, наконец, и его лирика. Есть там строки, продиктованные личным чувством, хоть и прикрытые сюжетом (см. "Дневник Иззи Вайсброта"). Но, может быть, ярче и откровеннее выразят сердце этого человека другие его стихи. Вот она,

"онегинская строфа" Герцена Копылова во всей ее пронзительности:

...И, пряча голову как страус,
стараюсь не заметить я,
как подползает к горлу старость,
венец процессов бытия, —
когда финал метаний тяжких
смерть подытожит на костяшках
и, сбросив разом со счетов,
промолвит буднично: "Готов!"
И чем ясней финал блужданий,
чем ближе нулевой предел,
тем больше несвершенных дел
и неисполненных гаданий,
и нерастраченной любви —
хоть распродажу объяви!..

Это было написано за 19 лет до смерти.

Он, конечно, и хотел, и боялся быть напечатанным. Поэтому, повторимся, жаждал он естественного разбегания своей сатиры по добровольным многочисленным машинкам, — но при жизни его этого не произошло. Тем поразительнее слышать, насколько современно и свежо звучит и теперь его горестный смех.

Юлий Ким

О МОЕМ ДРУГЕ

Прошло уже много лет со дня смерти Г.Копылова, но облик его и его творчество стали еще ближе его друзьям и читателям.

За месяц и 10 дней до кончины (15 июля 1976 г.) он писал в дневнике: "Я открываю эту тетрадь с чувством, что она — последняя в моей жизни. Больше не будет. Предсмертная... Дай Бог успеть сказать главное хотя бы из того, что я хочу сказать... Я хочу высказать некоторые мысли из тех, что владеют мной в последние годы. Не воспоминания — итоги. Дай Бог мне уменья сказать это достаточно убедительно, внятно, не разойтись по пустякам."

После этого, на другой день, он успел записать в дневнике всего неполных три строчки...

Тетрадь действительно оказалась последней, предсмертной. Трагическое пророчество сбылось. Дар ясновидения озарял его творчество, как научное, так и литературное...

Герцен Исаевич Копылов родился 27 марта 1925 г. в семье рабочего-переплетчика. Работать начал с 16 лет: в МТС, токарем и лаборантом на заводе, после окончания физфака МГУ в 1949 г. — преподавателем физики и математики, потом в Институте научной информации АН СССР, а с 1955 г. и до самой смерти в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, где он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию (в 1967 г.), написал 100 научных статей, монографию "Основы кинематики резонансов", научно-популярную книгу "Всего лишь кинематика", перевел на русский язык две научные книги, стал одним из ведущих физиков-теоретиков, в частности, в разработке проблем высоких энергий и элементарных частиц.

С 1949 г. началось и продолжалось до конца жизни и его литературное творчество. До сих пор из него опубликовано лишь небольшое эссе в знаменитом сборнике "Физики продолжают шутить", да критическая статья в "Литературной газете" о советской системе образования. Между тем, он успел создать немало значительных произведений: две поэмы, несколько стихотворений, памфлеты, публицистические статьи, автобиографическую прозу, которая, увы, осталась незаконченной.

Этот красивый, рано поседевший человек, с очень молодым, подвижным лицом, с мягкими, плавными движениями, неизменно деликатный, приветливый, доброжелательный, сдержанный и всегда готовый откликнуться на любой зов о помощи, улыбнуться шутке и сам пошутить, был беспощаден и точен, саркастичен и гневен, говоря о тех, кто причиняет людям боль, насаждает ложь, несправедливость, жестокость, фарисейство. Да, в этом он был беспощаден, как беспощаден свет дня, освещающий не только прекрасное, но и уродливое и злое. Беспощаден, талантлив, прозорлив, и, как и в науке, полон стремления добраться до самых истоков, до начала начал, как бы глубоко ни были они скрыты, обнажить под густыми слоями румян и белил уродливое, перекошенное лицо зла.

Хотя смерть и настигла его на 52-м году жизни, Г.Копылов успел сказать очень многое из того, что важно и для современников, и для потомков. Теперь, перечитывая созданное им, не только переживаешь как бы новую встречу с горячо любимым, талантливым, ярким человеком, верным другом, но и ощущаешь, как его произведения в наши дни словно снова рождаются, получают второе дыхание.

Поэма "Евгений Стромынкин", написанная онегинской строфой, создана в период разгула сталинского террора и первых лет хрущевской оттепели. Автор как бы сравнивает "век нынешний и век минувший", судьбу молодого человека в России наших дней и жившего на столетие с лишним раньше его сверстника и тезки. Вся поэма написана с тех нравственных позиций, которые выработаны были в России, как и само понятие "интеллигенция", еще в XIX веке. Это очерк духовной эволюции молодого человека 50-х годов нашего века. Герой поэмы в конце концов становится конформистом. Автор избежал этой печальной, но безопасной участи и всей своей жизнью получил право на то, чтобы саркастически высмеять сытую бездуховность и ремесленничество, к которым пришел его герой:

Я твердо-натвердо усвоил,
что, хоть и вижу в жизни зло,
но в поле я, один, не воин,
что единица — не число.
Повадку рабью или рыбью
один я из людей не выбью.

Кому и что я докажу?
Себе лишь только досажу.
А у меня ведь есть успехи...
Науку двигая свою,
я больше обществу даю,
чем тыча пальцами в прорехи.

Еще более значительна "Четырехмерная поэма" (1964–1974). "Исторический" аспект поэмы, ее сложная структура с "привалами" и "переходами", блестящими каламбурами, афоризмами, перевертышами, нарочитыми нелепицами, путаницами, анахронизмами, эпатажами, как бы создает целый мир, находящийся в непрерывном движении и в то же время окостеневший. Действие происходит как бы в четвертом измерении, где все не так, как в нормальном трехмерном мире: следствие опережает причины, веселье вызывает слезы, несчастье — это благодать, ложь — это правда, смерть — это жизнь, горе — радость, нищета — изобилие, энтропия — гармония, трагедия — фарс... Как при чтении Орвелла, чувствуешь, похолодев: эта фантаσμαгория и есть жуткая реальность нашей жизни. Сквозь беспощадную иронию, сквозь сочетание самой жесткой реальности с безудержной фантазией, причудливое переплетение времен, племен, людей, судеб проступает такая безмерная, безнадёжная, печальная, непреоборимая любовь к родной земле и ее народу, что невольно сжимается сердце. Особенной силы поэма достигает там, где автор с той же страстностью и искренностью ведет речь о проблеме, которая особую остроту получила в наши дни: труд ученого, его гражданская совесть и соотношение между ними.

Написанная в 1974–76 гг. статья "Не обобщай меня без нужды" — с моей точки зрения наиболее спорная, во всяком случае в той ее части, где автор провозглашает чистоту науки в противовес литературе и искусству, утверждает, что наука — занятие честное, что она всегда моральна. Такие же идеи присутствуют и в других работах Г.Копылова, но здесь они представлены в наиболее концентрированном виде.

Ну а как быть с академиком, героем социалистического труда Т.Д.Лысенко — лжецом и убийцей, академиком, героем социалистического труда С.Б.Рыбаковым — лжецом и убийцей, с академиком, бывшим зав. отделом науки ЦК КПСС С.П.Тра-

пезниковым — полуграмотным, дремуче невежественным лжецом и палачом? А целые институты и академии по общественным наукам? А услужливая, безропотная разработка учеными все более страшных видов оружия массового уничтожения? Вряд ли физики-теоретики, работающие в тиши своих кабинетов в области чистой науки, не догадываются, для чего могут быть использованы их открытия, если они попадут в преступные руки? Наивно и утверждение, что наука "моральна еще и потому, что делает человека свободным. Ученый свободен, как свободен приверженец любой справедливой идеи. Он знает истину, он развивает ее дальше".

Увы, на евангельский вопрос: "Что есть истина?" человечество до сих пор не нашло ответа, и лучшие его сыны ищут его, надрывая сердце, расшибаясь в кровь, погибая, чтобы хоть немного приоткрыть путь тем, кто идет за ними.

Во всем, что написал Г.Копылов, — безжалостная, бескомпромиссная проверка совестью прежде всего самого себя, боль за родную землю и ее народ, за ее интеллигенцию, — запуганную, оболганную, замученную, подкупленную, развращенную и все же именно из своей среды выделяющую мучеников, творцов, гениев, защитников человеческого достоинства и прав.

В своем литературном творчестве Г.Копылов проделал замечательную эволюцию, и как художник, и как мыслитель: от наивного восприятия жизни, основанного на вере в безграничные возможности и высокий нравственный уровень любимой науки, — восприятия, не лишнего, правда, веселого скептицизма, ко все более глубоким, зрелым и зачастую горьким раздумьям о действительности, о месте человека и ученого в обществе, о долге и мужестве, о судьбах родной страны, к высокой гражданственности, хотя и с сохранением некоторых прежних иллюзий. Все большую остроту приобретает его видение, все более взвешенными становятся его суждения и оценки. А без некоторой сохранившейся у него наивности, без душевной чистоты может быть и не состоялся бы поэт и писатель Г.Копылов. В чем источник его иллюзий и наивных заблуждений относительно науки и ее служителей, столь странных для такого умного, проникательного, широко образованного человека? Думается, что это не такая уж редкость среди одаренных и благородных людей, которые своими личными качествами щедро наделяют других.

Таким же смелым и благородным, как в своих стихах, был Г.Копылов и в жизни. Когда его друг — талантливый поэт, мыслитель и правозащитник Илья Габай, арестованный за выступления в поддержку крымских татар в их стремлении вернуться на родину, отбывал свой трехлетний срок заключения в лагере близ Кемерово в Сибири, Г.Копылов добрался до этого лагеря и, не будучи вообще родственником И.Габая, добился свидания с ним. Я никогда не забуду и его речи над гробом Габая, вскоре после отбытия срока покончившего с собой! Только соотечественники могут полностью понять и оценить значение этих поступков.

Литературное наследие его — талантливое, благородное, острое — не только яркий памятник эпохи. Сейчас, по прошествии стольких лет, все более очевидной становится его непреходящая художественная ценность.

Георгий Федоров
доктор исторических наук

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Последний раз я говорил с Герой Копыловым незадолго до его смерти, в дубненской больнице: он слег после очередного сердечного приступа.

— Ты много работал? — спросил я.

— Дело не в том, что много, а в том, что успешно. Я заметил странную вещь. Работашь, работаешь целыми днями, не можешь чего-то решить, и сердце спокойно, не утомляется, хоть бы что. И вдруг наконец поймал за хвост решение, решил. И на каком-то эмоциональном взлете сердце не выдерживает...

В нем было редкое свойство органичности: он жил всем существом, так что и стихи отнюдь не были для него необязательным досугом после основных ученых занятий. Перечитывая их сейчас, не просто отдаешь должное профессиональной виртуозности, блеску остроумия, глубине мысли — за ними встает человек со своим миром, голосом, характером и судьбой.

В тот раз он среди прочего говорил, что хотел бы как-то пристроить свои рукописи, передать, скажем, мне.

— Может, удастся это как-нибудь напечатать. Умру, жаль, если совсем пропадет. Вдруг в них что-то есть?

Я отвечал, что с этим еще успеется, — как всегда в таких случаях, искренне. Он на вид был не так уж плох, в больницу попал не впервые и уже был записан к хирургу Князеву на операцию, о которой однажды услышал по телевизору: когда подшивается дополнительная артерия к сердцу, чтобы хоть на год-другой улучшить его кровоснабжение. Эту операцию у нас только начинали делать, она считалась довольно рискованной, но Гера на любой риск был готов.

— Унизительно работать от приступа к приступу, все время чего-то бояться. Я понимаю, когда старик, общее угасание... Это естественно. Но ведь у меня голова ясная, сил много, вот в чем беда.

Он говорил о смерти и о готовности к ней, а еще — о том, что, если будет дано время, он хотел бы отдать остаток сил той деятельности, которую тогда называли правозащитной, — может быть, даже пожертвовав наукой...

Что я мог ему ответить? О его научном ранге я имел возможность судить лишь косвенно, дилетантски. Как-то он подарил мне оттиск своей статьи из немецкого научного журнала — "Физические эксперименты в симуляторе" — насколько я понял, новаторская по тем временам работа о моделировании физических процессов. Как-то рассказал мне, что открыл остроумный способ измерения ничтожно малых величин. В наших условиях его приоритет не всегда становился известен — он относился к этому с усмешкой. Но знакомый физик сказал о нем: "Тера как ученый на два порядка выше меня" — признание, какое от коллеги не часто услышишь. Бросить дело, в котором ты многого достиг, которое дает тебе не просто средства к существованию, но имя, положение, авторитет, а значит, в конце концов, и лучшую возможность быть услышанным даже в той самой общественной области, где вообще-то вряд ли можно рассчитывать на результаты реальные, где можно говорить скорей о самоотверженных, но обреченных усилиях?..

Он об этом достаточно думал и прекрасно писал сам:

Кому и что я докажу?...
Науку двигая свою,
я больше обществу даю...

Но в том-то и дело, что для него здесь все решали не рассудочные доводы, тут, как и во всем, была потребность органичная, внутренний императив. Он не просто размышлял о проблемах и трагедиях нашей жизни — у него болело от этого сердце.

И такая ли на самом деле правда в словах об очевидной обреченности стольких самоотверженных усилий, губительных порывов? Да, в сцеплении мировых шестеренок каждое слабое действие может изменить ничтожно мало и так опосредствованно, не сразу, через систему зубцов такой кратности, что усилия эти кажутся в сущности пропавшими, — шестерни уже перемололи человеческую жизнь, не ощутив сбоя. Но только представить себе, что в жизни, которая была нашей жизнью, не прозвучало этих голосов — лишь репродукторская мертвечина! Была бы другая, более страшная, безнадежная, глухая жизнь — и другая история. Эти порывы и голоса, эти отчаянные усилия мысли, чувства, воли меняли и меняют больше,

чем объективную историю (облагораживая ее, входя в нее наряду с танками и репрессиями), — они меняют наши души. Как всем, растущим и развивающимся в меняющемся времени, нам начинает в конце концов казаться, что мы до всего дошли сами, своим умом, — мы склонны забывать тех, кому обязаны своим развитием.

Гера Копылов был одним из таких людей. Перечитывая его сейчас, убеждаешься, как много он понял раньше и глубже других — и как много в его размышлениях не устарело со временем.

У него был тихий голос, он держался в компании немногословно и незаметно — непросто было распознать в нем блистательного остроумца, пронизательного, интеллектуально мужественного мыслителя, готового идти до конца в любом поиске, научном, литературном, жизненном. Но даже знавшие его по-новому оценили спокойное мужество этого мягкого интеллигентного человека, услышав после его смерти от врачей, что он не один год жил, в сущности, на грани — удивительно, как столько еще выдержало это сердце.

Марк Харитонов

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3
Г.И.Копылов (некролог)	10
Четырехмерная поэма	11
Ось Т	13
Ось Х	76
Ось Y	115
Ось Z	156
Финалы	169
Примечания и дополнения	174
Евгений Стромынкин	189
Глава I. Утро	191
Глава II. Герой	196
Глава III. Вечеринка	214
Глава IV. Бал	217
Глава V. Ирина	231
Глава VI. Весна	239
Глава VII. Финал	248
Примечания и дополнения	256
Стихотворения	269
Русская история от Гостомысла до Хрущева	271
Сострил остряк	281
К самому себе	283
"Монолог американского битника"	284
Было дело на Луне	286
Из предсмертного	289
Примечания	290
Публицистика	291
Как быть ?	293
Лето 1969	316
Август 1972 г., или торговля живым товаром	317
Деморализация науки	326
Не обобщай меня без нужды	333
Отрывок 1	336
Отрывок 2	336
О Герцене Копылове	337
<i>Юлий Ким</i> , Горестный смех Герцена Копылова	339
<i>Георгий Федоров</i> , О моем друге	345
<i>Марк Харитонов</i> , Последний разговор	350

**Под редакцией и с комментариями
канд. физ.-мат. наук
К.Любарского**

**Набор Т.Заочной
Оформление К.Любарского
(в оформлении использованы
математические рукописи Г.Копылова)**

© "Страна и мир", 1990

**Das Land und die Welt e.V.
Schwanthalerstr. 73, 8000 München 2, BRD**



Доктор физ.-мат. наук Герцен Копылов (1925-1976) был до недавнего времени известен как незаурядный физик, блестящий популяризатор науки, автор веселых физических пародий. Читателям этой книги Г.Копылов впервые предстает как язвительный сатирический поэт, автор философской лирики, глубокий публицист, внесший немалый вклад в развитие политического самиздата 60-х — 70-х гг.

